

pocketbook

# Дж. М. КУТЗЕЕ

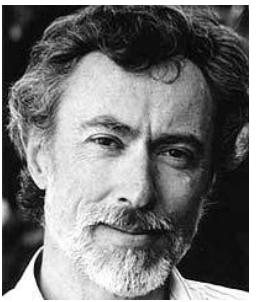
## *Жизнь и время Михаэла К.*

# Жизнь и время Михаэла К.

## Джозеф Максвелл Кутзее

Аннотация
Дж. М. Кутзее. ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ МИХАЭЛА К
I
II
III

## Аннотация



Именно за этот роман Дж. М. Кутзее был присужден его первый „Букер“… на вручение которого он не явился. Нобелевский лауреат, самый, пожалуй, загадочный, экстравагантный и непредсказуемый из всех награжденных этой главной литературной премией мира.

„Жизнь и время Михаэла К.“ — роман об эпохе, в которой „раздор — отец всем общий и всем общий царь, и одних богами объявляет он, а других — людьми“, и о человеке, обойденном божьим благоволением, но обретающем душевный покой в неспокойном

мире, который его окружает.

# Дж. М. Кутзее
# ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ МИХАЭЛА К

*Раздор — отец всем общий*
*и всем общий царь,*
*и одних богами объявляет он,*
*а других — людьми,*
*одних рабами сотворяет он,*
*а других — свободными.*
*Гераклит Эфесский*
*Фрагмент 23 (53)*
*(Перевод С. Муравьева)*

# I

Первое, что заметила повитуха в Михаэле К., помогая ему выбраться из материнской утробы на белый свет, — это заячью губу. Губа отворачивалась точно нога улитки, левая ноздря зияла. Заслонив на минутку младенца от матери, повитуха сунула палец в крохотный бутончик рта и возблагодарила судьбу, что нёбо на месте.

Матери она сказала: „Радуйся, такие приносят в дом удачу“. Но Анне К. не понравился рот, который не закрывался, и розовая, вывернутая наружу губа. Страшно было подумать, что росло в ней все эти месяцы. Младенец не мог сосать грудь и плакал от голода. Когда не помогла и бутылочка, Анна стала кормить сына с ложки, раздражаясь, если он закашливался, расплескивал молоко и плакал.

— Подрастет, и рот закроется, — пообещала повитуха.

Но губа не опускалась, может, и опустилась немножко, но не до конца, и нос тоже не выправлялся.

Анна брала мальчика с собой на работу и

продолжала брать, когда он уже вышел из младенческого возраста. Она держала его подальше от сверстников — их перешептывания и улыбки причиняли ей боль. Год за годом Михаэл К. сидел на одеяле, смотрел, как мать надраивает чужие полы, и учился молчанию.

Из-за увечья и оттого что соображал он медленно, Михаэла после короткого испытательного срока забрали из простой школы и поместили в приют „Норениус“ в Форе, где он вместе с другими обездоленными судьбой, калечными и увечными детьми провел на казенном содержании остальные годы своего детства, постигая науку чтения, письма, счета, учился подметать полы, заправлять постель, мыть посуду, плести корзины, а также столярничать и работать в саду. В пятнадцать лет, успешно завершив курс обучения в приюте, он пополнил в качестве садовника категории 3(б) ряды муниципальной службы „Парки и сады Кейптауна“. Тремя годами позже он оставил „Парки и сады“ и после нескольких недель безработицы, которые он провел лежа на кровати и разглядывая свои руки, нанялся ночным дежурным в общественные уборные на Гринмаркет-сквер. В одну из пятниц, когда он поздно ночью возвращался домой, в метро

на него напали двое неизвестных, избили его, забрали часы, деньги и ботинки и бросили на платформе — оглушенного, с ножевой раной на руке, с вывихнутым большим пальцем и двумя сломанными ребрами. После этого происшествия он ушел с ночной работы и вернулся в „Парки и сады“, где со временем стал садовником первой категории.

Губа делала свое дело — знакомых женщин у К. не было. Приятнее всего он чувствовал себя в одиночестве. Обе работы давали ему относительную уединенность, хотя в уборных его угнетал яркий неоновый свет, от которого белые кафельные плитки блестели еще ярче, и совсем не было тени. Он любил парки с высокими соснами, где вдоль аллей цветут неяркие лилии. Случалось, в субботу он не слышал выстрела, возвещающего полдень и окончание работы, и продолжал работать до вечера. В воскресенье он долго спал, а вечером навещал мать.

Однажды поздним июньским утром, на тридцать первом году жизни, Михаэл К. получил известие. Он сгребал листья в парке Де Ваал. Известие, которое дошло к нему через третьи руки, было от матери: ее выписали из больницы, и она просит его прийти за ней. К. отнес в сарай грабли

и поехал на автобусе в больницу Сомерсет, где и нашел мать на скамейке перед входом: она сидела и грелась на солнышке. Мать была полностью одета, только босиком — туфли стояли рядом со скамейкой. Увидев сына, она расплакалась, прикрывая рукой глаза, чтобы не заметили другие пациенты и посетители.

Анна К. уже давно хворала: страшно распухали ноги и руки, потом начал пухнуть и живот. Когда ноги совсем отказали и замучила одышка, ее взяли в больницу. Пять дней Анна пролежала в коридоре среди избитых, с ножевыми и огнестрельными ранами мужчин, которые так стонали и кричали, что она совсем не могла спать, а сестры не обращали на нее никакого внимания, где уж им было возиться со старухой, когда вокруг так страшно умирали молодые мужчины. Сразу же по поступлении Анне дали кислород, а потом начали делать уколы и давали таблетки, чтобы согнать отеки. Судна было не допроситься — санитарки поблизости никогда не оказывалось. Халата Анне не выдали. Однажды, когда она, держась за стенку, брела к уборной, ее остановил старик в серой пижаме и, грязно выругавшись, расстегнул ширинку. Потребности тела превратились для Анны в источник мук.

Сестрам она говорила, что принимает пилюли, но часто их обманывала. Два дня спустя одышка уменьшилась, зато ноги стали так сильно зудеть, что она подсовывала руки под себя, чтобы не чесаться. На третий день она начала проситься домой, но просила, наверное, не того, кого нужно. На шестой день по щекам ее покатились слезы — от радости, что она вырвалась из этого ада.

Михаэл К. попросил у дежурной кресло-каталку, чтобы отвезти мать, но ему отказали. Взяв в одну руку сумочку и туфли, а другой рукой поддерживая мать, он провел ее пятьдесят шагов до автобусной остановки. Там стояла длинная очередь. Приклеенное к столбу расписание обещало автобус через каждые пятнадцать минут. Они прождали час; тени стали длинными, подул холодный ветер. Стоять Анна не могла, она села на тротуар и привалилась к стене, вытянув вперед ноги, как нищенка, а Михаэл держал место в очереди. Подошел автобус, однако все сидячие места в нем были заняты. Обхватив мать, чтобы она не повалилась, Михаэл крепко держался за поручень. Они добрались до ее комнатки в Си-Пойнте уже после пяти.

Анна К. восемь лет проработала служанкой у бывшего владельца трикотажной фабрички,

удалившегося на покой, и его жены, которые занимали в Си-Пойнте пятикомнатную квартиру с видом на Атлантический океан. По условиям договора, она приходила в девять утра и работала до восьми вечера, с трехчасовым перерывом в середине дня. Работала попеременно пять и шесть дней в неделю. Ей предоставлялись двухнедельный оплаченный отпуск и комната в том же доме. Жалованье было приличное, хозяева — люди спокойные, работу найти было нелегко, и Анна К. не жаловалась на жизнь. Но год назад у нее стала кружиться голова, и, когда она наклонялась, что-то сдавливало в груди. Потом началась водянка. Теперь она только готовила для Бёрманнов, платили ей на треть меньше, а на уборку наняли женщину помоложе. Анне К. позволили остаться в ее комнатушке, которая была в распоряжении Бёрманнов. Водянка усиливалась. Анна К. уже не могла работать и несколько недель перед тем, как попала в больницу, пластом пролежала в постели. Ее мучил страх, что Бёрманны перестанут ее жалеть.

В ее комнатушке под лестницей на вилле „Лазурный берег“ когда-то предполагалось установить кондиционер, но так и не установили. На двери остался знак: красный череп с перекре-

щенными костями и надпись на английском, африкаанс и зулу: „ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!“ Ни электрического света, ни вентиляции не было, пахло затхлостью. Михаэл отпер дверь и пропустил мать вперед, засветил свечу и, пока она раздевалась, чтобы лечь в постель, подождал в коридоре. Этот первый вечер после ее возвращения и все остальные вечера он провел с ней: подогревал ей суп на керосинке, старался поудобнее ей все устроить, делал все необходимое, а когда она начинала плакать, гладил ее по руке и успокаивал. В один из вечеров автобусы от Си-Пойнта не шли вовсе, и ему пришлось остаться у нее на ночь; он лег спать на тюфяке, накрывшись своим пальто. Среди ночи он проснулся от холода — промерз до костей. Теперь уж заснуть он не мог и уйти тоже не мог — был комендантский час, он до рассвета просидел на стуле, трясясь от холода и слушая стоны и храп матери.

Михаэлу К. было неприятно такое их тесное соседство по вечерам в маленькой комнатке. Вид распухших ног матери очень его тревожил, и он отводил глаза, когда помогал ей слезать с постели. Бока и руки у матери были в расчесах, она иногда даже надевала перчатки на ночь. Но он не уклонялся от выполнения того, что считал

своим долгом. Вопрос, над которым он когда-то раздумывал в приюте „Норениус“, спрятавшись за сараем для велосипедов, а именно: зачем он вообще родился, получил ответ — он родился, чтобы ухаживать за своей матерью.

Как ни успокаивал Анну К. сын, она не могла избавиться от мучившего ее страха: что с ней станется, если она лишится комнаты? Ночи среди умирающих в коридорах Сомерсетской больницы ясно ей показали, как безразличны все к старой женщине, страдающей такой неприглядной болезнью, да еще в военное время. Работать она не могла и считала, что только доброта Бёрманнов — но вот надежна ли она? — да преданность не больно-то сообразительного сына могут спасти ее от голода и трущоб, а уж на самый крайний случай у нее есть сбережения: в чемодане, под кроватью, в сумочке лежали два кошелька, один с новыми деньгами, другой со старыми: в свое время она поостереглась обменять их, и теперь они ничего не стоили.

Поэтому, когда Михаэл как-то вечером стал рассказывать, что у них в парке сворачивают работу Анна К. всерьез задумалась над тем, о чем до сих пор лишь смутно мечтала: не покинуть ли им город, который не сулит ей теперь ничего хоро-

шего, и не вернуться ли в тихий край ее детства?

Анна К. родилась на ферме в округе Принс-Альберт. Отец у нее был неспокойный — он пил, и потому, когда она была маленькая, семья переходила с фермы на ферму. Мать стирала и кухарничала; Анна ей помогала. Потом они поселились в маленьком городке Аудсхорн, там Анна какое-то время ходила в школу. А когда она родила своего первенца, то перебралась в Кейптаун. Родился второй ребенок, от другого отца, потом третий, который умер, потом Михаэл. Годы до того, как они переселились в Аудсхорн, запомнились Анне как самые счастливые в ее жизни — все были добрые и сытые. Она помнила, как, бывало, сидела в пыли в курином загоне, а вокруг нее квохтали и скребли когтями землю куры; помнила, как отыскивала под кустами яйца. И сейчас, зимними вечерами, лежа на постели в душной комнатушке, слушая, как барабанит по ступенькам крыльца дождь, она мечтала укрыться от равнодушной жестокости, от набитых битком автобусов, очередей за продуктами, наглых лавочников, от воров и нищих, сирен среди ночи, комендантского часа, от холода и сырости и возвратиться в сельскую тишь: если ей суждено умереть, пусть она умрет под голубым небом.

В плане, который она изложила Михаэлу, о смерти не было упомянуто. Она предложила ему самому уволиться из парка, покуда его не уволила администрация, и поехать с ней вместе на поезде в Принс-Альберт, где она снимет комнату на то время, пока он не подыщет работу на ферме. Дадут ему там хорошее помещение — она поселится с ним, будет вести хозяйство, нет — он будет приезжать к ней на выходные. А чтобы убедить его в серьезности своих намерений, она вытащила из-под кровати чемодан и на его глазах пересчитала содержимое кошелька с новыми деньгами, заверив, что как раз для этой цели она их и копила.

Она ожидала, что Михаэл спросит: неужели она надеется, что маленький городок в сельской местности примет двух чужаков, из которых одна — больная старуха. У нее далее был наготове ответ. Но Михаэл ни на мгновенье не усомнился в ее плане. Так же, как все годы пребывания в „Нореиусе“, он был убежден, что мать поместила его туда для какой-то особой цели, которая вначале была ему неясна, и только потом он ее определил, так и сейчас он сразу признал мудрость ее решения и не задал ей ни одного вопроса. Не разложенные на одеяле деньги видел он перед

собой, а бескрайний вельд, белый домик, из трубы которого вьется дым, а у раскрытой двери его встречает после долгого трудового дня здоровая и веселая мать.

Утром Михаэл не пошел на работу. Затолкав по пачке банкнот в каждый носок, он отправился на железнодорожный вокзал. В билетной кассе главных линий кассир сказал, что он с удовольствием продаст ему два билета до Принс-Альберт или до ближайшей к нему станции („Принс-Альберт или Принс-Альфред?“ — переспросил кассир), однако К. не сможет сесть в поезд, если вдобавок к заказанным билетам не будет иметь разрешение на выезд от своего полицейского участка. Раньше чем на восемнадцатое августа он ему билеты зарезервировать не может, то есть ждать надо два месяца; что же касается разрешения, то его дают только в полиции. К. очень просил его зарезервировать билеты на более ближнее число, но напрасно; состояние здоровья его матери не дает ему никаких преимуществ, сказал кассир, напротив, он советует ему вовсе не упоминать о ее болезни.

С вокзала К. отправился на Каледон-сквер, где простоял два часа в очереди позади женщины с хнычущим младенцем. Ему выдали по два блан-

ка — на мать и на него.

— Подколите к голубым бланкам заказ на билеты и отнесите все в комнату Е-пять, — сказала женщина в полицейской форме, сидящая за конторкой.

Когда зарядили дожди, Анна К. подсунула под дверь полотенце, чтобы вода не затекала внутрь. Комнатка пропахла „Деттолем“ и тальком.

— Сижу тут, как жаба под камнем, — прошептала Анна К. — До августа мне не дожить.

Она с головой укрылась одеялом и замолчала. Михаэл посидел немного рядом с ней, потом почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он пошел на угол в лавку. Хлеба там не было.

— Ни хлеба, ни молока, — сказал продавец, — приходи завтра.

К. взял печенья и сгущенки, потом долго стоял под тентом и смотрел, как сыплется с неба дождь. На следующий день он отнес бланки в комнату Е-5. Разрешение будет выслано по почте, сказали ему, после того как полиция в Принс-Альберте просмотрит бланки и даст согласие на въезд.

Он пошел в парк Де Ваал, где, как он и ожидал, ему было сказано, что деньги он получит только в конце месяца.

— Вообще-то это не важно, — сказал он брига-

диру, — выплатят, не выплатят, мы с матерью все равно уедем.

Ему вспомнилось, как мать навещала его в „Норениусе“. Иногда она привозила ему зефир, иногда шоколадное печенье. Они уходили вдвоем на площадку для игр, а к чаю возвращались в зал. В дни посещений мальчики надевали парадные рубашки цвета хаки и коричневые сандалии. У некоторых ребят родителей вообще не было, других просто забыли. „Отец у меня умер, а мать работает“, — говорил К.

Он расстелил в углу материнской каморки одеяла, положил подушки и сидел там вечерами, прислушиваясь к дыханию матери. Она теперь почти все время спала. Иногда он тоже засыпал, сидя, и пропускал последний автобус. Утром он просыпался с головной болью. Днем бродил по улицам. Жизнь, казалось, замерла — они ждали разрешения, а оно все не приходило.

В одно из воскресений он побывал в парке Де Ваал, сломал там замок на сарае, где хранилось садовое оборудование, взял кое-какие инструменты и тачку и увез все это в Си-Пойнт. Расположившись в проулочке позади дома, он разобрал старую тачку па части, сколотил из досок сиденье и прикрутил к нему проволокой спинку. Затем

стал уговаривать мать поехать прогуляться.

— На свежем воздухе тебе сразу станет лучше, — говорил он. — И никто нас не увидит, уже шестой час, на набережной пусто.

— Увидят из окон, — отвечала мать. — Не хочу я быть посмешищем.

На следующий день она сдалась. Надела пальто, шляпу и, с трудом передвигая ноги в шлепанцах, вышла в сгущающиеся серые сумерки и позволила Михаэлу усадить ее на тачку. Он перевез ее на другую сторону Бич-роуд и покатил по променаду. Никого на набережной не было, только какая-то пожилая пара выгуливала пса. Крепко вцепившись в края сиденья, Анна К. вдыхала холодный морской воздух; сын провез ее ярдов сто, постоял немного, чтобы она посмотрела, как плещутся о скалы волны, проехал еще сто ярдов, опять остановился, потом повез мать назад. Тачка оказалась очень шаткой, а мать очень тяжелой, и это его огорчило. Один раз тачка накренилась, и мать чуть не съехала на землю. „Тебе полезно подышать свежим воздухом“, — сказал он матери. На следующий день зарядил дождь, и они не выходили из дома.

Он стал обдумывать, как бы ему соорудить коляску на велосипедных колесах, приладив к

ним ящик со стенками; вопрос был в том, где достать ось.

В один из последних дней июня, под вечер, мчавшийся на большой скорости по Бич-роуд военный „джип“ сбил парнишку, который переходил дорогу: тот пролетел несколько метров и врезался в машины, припаркованные у обочины. „Джип“ вильнул в сторону и резко затормозил на газоне у виллы „Лазурный берег“, где два его пассажира оказались лицом к лицу с разъяренными приятелями парнишки. Началась драка, вскоре вокруг собралась толпа. Взламывали дверцы автомобилей, которые стояли на стоянке, сами машины валили набок поперек дороги. Сирены оповестили о наступлении комендантского часа, но на это никто не обратил внимания. „Скорая помощь“, прибывшая в сопровождении мотоциклиста, чуть не доехав до баррикады, развернулась и помчалась обратно, а вслед ей посыпался град камней. И тут с балкона на четвертом этаже кто-то начал палить из револьвера. Люди с криками бросились врассыпную, ища укрытия в ближних домах, они врывались в коридоры, колотили в двери, разбивали окна и лампочки. Добрались и до стрелявшего, выволокли его из укрытия, забили до бесчувствия и скинули на мостовую.

Обитатели квартир выбегали на улицы или сидели в темноте за запертыми дверями. Какую-то женщину настигли в конце коридора и сорвали с нее всю одежду; кто-то поскользнулся на бегу и сломал себе ногу. Двери в квартирах были сорваны с петель, вещи разграблены. В квартире Бёрманнов, над комнатой Анны К., громилы сорвали занавески, навалили на пол груду одежды, разломали мебель и запалили огонь, и оттуда, хотя огонь и не разгорелся, пополз густой дым. Перед виллами „Лазурный берег“, „Золотой берег“ и „Копакобана“ снова стала собираться толпа; люди складывали награбленные вещи у своих ног, бросались к декоративным каменным горкам на газонах и швыряли камнями в большие зеркальные стекла окон, выходивших на набережную, покуда не перебили все вдребезги.

На шоссе в пятидесяти ярдах от баррикады остановилась полицейская машина с крутящейся синей мигалкой. Застрочил автоматический пистолет, из-за баррикады раздались ответные выстрелы. Машина резко дала задний ход и исчезла, а толпа с криками повалила в другую сторону, по Бич-роуд. Прошло еще минут двадцать, уже совсем стемнело, и только тогда на место происшествия прибыли полицейские и карательные

отряды. Этаж за этажом они захватывали пораженные мятежом дома, не встречая никакого сопротивления со стороны врага, который удирал по всем близлежащим аллеям и переулкам. Одну мятежницу, которая не могла быстро бежать, застрелили. С окрестных улиц полицейские собирали брошенные вещи и складывали их в кучи на газонах. Сюда поздней ночью пришли обитатели квартир и, светя фонариками, стали отыскивать свое имущество. В полночь, когда уже готовились объявить о завершении операции, в коридоре одного из домов, в темном закутке, обнаружили скукожившегося бунтовщика с простреленным легким; его забрали. Выставив на ночь постовых, солдаты и полицейские уехали. К утру задул ветер и пошел сильный дождь; он хлестал в разбитые окна „Лазурного берега“. „Золотого берега“, „Копакобаны“, а также „Эгремонта“ и „Высот Малибу“, которые солидный проспект рекомендовал пассажирам лайнеров, плывущих вокруг мыса Доброй Надежды; дождь мочил шторы, заливал ковры, на полу собирались лужи.

Все это время Анна К. и ее сын тихо, как мыши, сидели в комнатушке под лестницей и не двинулись с места, даже когда почуяли дым, когда по коридору затопали тяжелые башмаки и кто-то

заколотил в запертую дверь. Откуда им было знать, что шумят и кричат лишь на их улице, что бьют стекла лишь в нескольких соседних домах. Не смея шепнуть друг другу хоть одно слово, они сидели бок о бок на кровати и все больше утверждались в мысли, что в Си-Пойнт пришла настоящая война. На рассвете мать в конце концов задремала, а Михаэл все сидел и вслушивался, глядя на полоску серого света под дверью, стараясь дышать как можно тише. Едва мать начинала похрапывать, он тряс ее за плечо.

Так он и уснул, сидя на кровати и привалившись спиной к стене. Когда он проснулся, полоска света под дверью стала светлее. Он отпер дверь и, крадучись, шагнул в коридор. Весь пол был усыпан битым стеклом. У входной двери, спиной к нему, сидели в шезлонгах два солдата, глядя на дождь и серое море. К. скользнул обратно в материнскую комнатушку и лег спать на свой тюфяк в углу.

Позднее в тот же день обитатели „Лазурного берега“ начали возвращаться и расчищать свои жилища или упаковывать вещи, а то просто стояли и смотрели на учиненный разгром и плакали. Когда перестал дождь, К. отправился в Грин-Пойнт в миссию святого Иосифа, где прежде

без всяких расспросов можно было получить миску похлебки и койку на ночь и где он надеялся пристроить ненадолго мать, подальше от разоренного дома. Но гипсовая фигура святого Иосифа с бородой и посохом исчезла, бронзовая дощечка с ворот тоже, окна были закрыты ставнями. Михаэл постучался в соседнюю дверь, и ему послышалось, что скрипнули половицы, однако дверь не открыли.

Проезжая и проходя через город по пути на работу, К. ежедневно наблюдал множество бездомных и нищих, которые в последние годы заполонили центральные улицы; они попрошайничали, воровали, томились в очередях у бюро по оказанию помощи безработным или просто сидели и грелись в коридорах учреждений, а на ночь укрывались в вонючих пакгаузах, в доках или в трущобах за Бри-стрит, куда полиция не отваживалась заглядывать. Всего за какой-нибудь год, еще до того, как власти установили контроль за передвижением людей, Кейптаун наводнили сельские жители, которые искали хоть какую-нибудь работу. Но ни работы, ни пристанища они не нашли. Если они с матерью вольются в это море голодных, думал К., на что им надеяться? Надолго ли хватит ему сил возить

ее на тачке, прося на пропитание? Он бродил по городу весь день и вернулся, когда их комнатушка уже погрузилась во мрак. На ужин он сварил суп, загородив керосинку одеялом, чтобы огонек не привлек чье-нибудь внимание, открыл банку сардин, выложил на стол сухари.

Теперь мать с сыном уповали на разрешение — они сразу же уедут, как только его получат. Но почтовый ящик Бёрманнов, на адрес которых полиция должна была выслать разрешение, если она вообще намеревалась его выслать, был заперт, а самих Бёрманнов наутро после той страшной ночи, потрясенных и растерянных, увезли куда-то друзья; они не оставили даже записки, когда вернутся. Поэтому Анна К. велела сыну подняться к ним в квартиру и взять ключ от почтового ящика.

К. никогда прежде туда не заходил. Все было перевернуто вверх дном. В лужах воды, которую нагнали в окна порывы ветра, валялась опрокинутая и сломанная мебель, вспоротые матрацы, битое стекло и посуда, горшки с увядшими цветами, вымокшие подушки и одеяла, коврики. На подметки башмаков К. налипла мука, кукурузные хлопья, сахар, кошачий кал, земля. В кухне лежал дверцей вниз холодильник, мотор у него

все еще урчал, из петель дверцы сочилась желтая пена — на полу натекла уже большая лужа. Ряды банок и кувшинов будто смели с полок метлой, воняло прокисшим вином. На сверкающем белизной кафеле кто-то написал пастой для чистки духовок: „А пшли вы!“

Михаэл уговорил мать пойти взглянуть на разгром. Она вот уже два месяца как не поднималась наверх. Со слезами на глазах мать стояла на хлебной доске, валявшейся в дверях гостиной.

— Почему они это сделали? — прошептала она. В кухню она не захотела заходить. — Такие приятные люди, — шептала она. — Прямо не знаю, как они это переживут.

Михаэл помог ей вернуться в их комнатушку. Она долго не могла успокоиться и все спрашивала, где же теперь Бёрманны и кто все приберет и вымоет, когда они вернутся.

Уложив мать в постель, Михаэл снова поднялся в разгромленную квартиру. Он поставил на место холодильник, вынул из него все, что там было, замел в угол осколки стекла, вытер лужи, сложил мусор в целлофановые пакеты и вынес их за входную дверь. Все, что было съедобного, он сложил отдельно. Гостиную он не стал прибирать, только пришпилил занавески поперек

зияющих оконных проемов. „Я это делаю не ради Бёрманнов, а ради матери“, — сказал он себе.

Пока не вставят стекла, не снимут с пола ковры, от которых уже потянуло плесенью, хозяева не смогут здесь жить, это ясно. И все же до той минуты, пока он не увидел ванную, ему и в голову не приходило поселиться в квартире.

— На одну-две ночи, не больше, — умолял он мать, — чтобы тебе выспаться спокойно одной. Пока мы не узнаем, как жить дальше. Я передвину кушетку в ванную. А утром поставлю все, как было. Обещаю тебе. Они ничего и не заподозрят.

Он втащил кушетку в ванную, застелил ее простынями и скатертями. Загородил окошко картоном и включил свет. Горячая вода шла, и он принял ванну. Утром он уничтожил все следы своей ночевки. Пришел почтальон. В ящик Бёрманнов он ничего не опустил. Моросил дождь. Михаэл вышел из дома и посидел под навесом автобусной остановки, глядя на дождь. К вечеру, когда стало ясно, что Бёрманны не вернутся и сегодня, он опять поднялся в их квартиру.

День за днем шел дождь. От Бёрманнов не было никаких известий. К. вымел на балкон застоявшуюся воду и прочистил стоки. Комнаты продувало ветром, но запах плесени все усили-

вался. Он убрал в кухне весь мусор с пола и снес пакеты вниз.

Теперь он проводил в квартире не только ночи, но и дни. В кухонном шкафу он обнаружил стопки журналов. Он лежал на кровати или в ванне и листал их, разглядывая красавиц и аппетитные кушанья. Кушанья привлекали его больше. Он показал матери картинку: поджаристый свиной окорок, обложенный вишнями и кружочками апельсина, а рядом стояла миска с малиной под сливками и пирог с крыжовником.

— Никто так больше не ест, — сказала мать. Он с ней не согласился.

— Свиньи не знают, что идет война, — сказал он. — Апельсины не знают, что идет война. Еда все так же растет. Кто-то должен ее есть.

Он отправился в общежитие, где жил, и заплатил сколько причиталось.

— Я уволился с работы, — сказал он служителю. — Мы с матерью едем в деревню, подальше от всех беспокойств. Вот ждем разрешения.

К. забрал свой велосипед и чемодан. Заехав на свалку, он купил метр стальной проволоки. Тачка с приделанным сиденьем стояла на том месте, где он ее оставил, — в проулке за домом; он все же остановился на первом своем проекте: взять ко-

леса от велосипеда, а к ним приладить ящик — на такой коляске он сможет вывозить мать на прогулки. Колеса крутились хорошо, но слетали, и он никак не мог их закрепить. Он часами возился с ними, накручивал на ось валики из проволоки, делал зажимы, но ничего не получалось. Тогда он бросил эту затею. Что-нибудь со временем придумаю, сказал он себе, и оставил разобранный велосипед на полу в кухне Бёрманнов.

Среди вещей, разбросанных по гостиной, валялся транзистор. Стрелку заело в конце шкалы, батареи почти сели; он повозился с ним и бросил. Однако потом, роясь в кухонных ящиках, он нашел провод и включил транзистор в сеть. Теперь по вечерам он лежал в ванной и слушал музыку, которая доносилась из комнаты. Иногда она его убаюкивала. Утром он просыпался, а музыка все играла, или кто-то звучно говорил на языке, в котором он не понимал ни единого слова, только улавливал названия отдаленных мест: Уэйккерструм, Питерсбург, Кинг-Уильямс-таун. Иногда он ловил себя на том, что сам что-то напевает под музыку.

Журналы ему наскучили, и он начал просматривать газеты, которые были сложены под кухонной раковиной; газеты были такие старые,

что он не мог припомнить тех событий, о которых там сообщалось, хотя и узнавал некоторых футболистов. „КАМИСКРУНСКИЙ УБИЙЦА ПОЙМАН!“ — сообщал заголовок в одной из газет, а под ним снимок: между двух застывших полицейских стоит мужчина в наручниках, в разодранной белой рубашке. Под тяжестью наручников он чуть наклонился вперед и опустил плечи, но смотрел в объектив, как показалось Михаэлу, со спокойной улыбкой, будто сделал то, что должен был сделать. Внизу был второй снимок: винтовка на ремне и подпись: „Оружие убийцы“. К. приклеил газетную страницу с этой историей к дверце холодильника и потом, когда снова взялся возиться с колесами, нет-нет да поднимал вдруг голову и встречался взглядом с человеком из какого-то Камискруна.

От нечего делать он решил просушить намокшие бёрманновские книжки, натянул через гостиную веревку, навесил на нее книжки, но они не сохли, и он потерял к ним интерес. Книги он вообще не любил, а эти были про военных и женщин со странными именами — одну, к примеру, звали Лавиния, — его все эти истории совсем не интересовали, но он все-таки разлепил слипшиеся листы нескольких альбомов с видами

Ионических островов, Мавританской Испании, Страны Озер — Финляндии, Бали и других стран мира.

Но вот однажды утром дверь со скрипом отворилась, Михаэл К. вскочил и увидел четырех мужчин в комбинезонах; не сказав ни слова, они прошли мимо него и начали выносить из квартиры вещи. Он поскорее убрал с дороги велосипедные части. Мать, еле волоча ноги, в халате, выползла из своей комнатушки и спросила у одного из мужчин, когда тот спустился с лестницы:
— А где же хозяин? Где мистер Бёрманн?

Мужчина пожал плечами и ничего не ответил. К. вышел на улицу и заговорил с водителем фургона:

— Вас послал мистер Бёрманн?

— Это ты про что? — удивился водитель. Михаэл помог матери вернуться в постель.

— Вот чего я не возьму в толк, — сказала мать, — почему они меня-то не извещают? Что мне делать, если вдруг кто-нибудь постучится в дверь и скажет, чтобы я отсюда выметалась, что комната нужна ему для своей прислуги? Куда мне тогда идти?

К. долго сидел возле матери, слушал нескончаемые жалобы и гладил ее по руке. Потом взял

велосипедные колеса, проволоку, инструменты, вынес все в проулок и расположился на солнышке — надо было все же что-то придумать, чтобы колеса не слетали с оси. Он провозился весь остаток дня; к вечеру он нанес ножовкой аккуратную резьбу по обоим концам поперечной оси, теперь можно было навернуть на ось дюймовые гайки. Он навесил колеса, закрепил их гайками, оставалось лишь закрепить ось потуже проволокой, чтобы гайки держались на одном уровне, и проблема вроде была решена. За ужином он едва притронулся к еде и почти не спал в ту ночь — так не терпелось ему снова взяться за работу. Утром он разобрал настил от старой тачки и соорудил ящик с двумя боковинами и задней стенкой, к боковинам приделал две длинные ручки, ящик приладил на ось и крепко примотал проволокой. Получилось что-то вроде коляски рикши, только пониже и не такая устойчивая, но мать она, пожалуй, должна была выдержать; в тот же вечер, когда с северо-запада задул холодный ветер и на набережной остались только самые заядлые любители прогулок, он снова вывез свою матушку, закутанную в пальто и одеяло, на прогулку, и на губах ее затеплилась улыбка.

Время пришло. Едва они вернулись домой, как

он изложил матери свой план, который вынашивал с того дня, когда построил первую коляску. Они только попусту томятся тут, дожидаясь разрешения. Не придет это разрешение никогда. А без разрешения не посадят в поезд. Из комнаты их могут выдворить в любой день. Неужели же она, зная все это, не позволит ему отвезти ее в Принс-Альберт на коляске? Она ведь сама убедилась, какая коляска удобная. Сырая погода ей во вред, да и бесконечная тревога за будущее тоже не на пользу. В Принс-Альберте она быстро восстановит свое здоровье. Самое большее они будут в дороге два дня. Мир не без добрых людей, посадят в машину, довезут до самого места.

Он часами спорил с ней и так ловко все объяснял, что сам поражался своей находчивости. Как же она среди зимы будет спать под открытым небом? — возражала мать. Если повезет, отвечал он, они за один день доберутся до Принс-Альберта — туда ведь всего пять часов езды на машине. А если польет дождь? — спрашивала она. Он натянет над коляской непромокаемый полог, отвечал он. А если их задержит полиция? Да уж наверное у полиции есть дела поважнее, отвечал он, чем задерживать двух ни в чем не повинных людей, которые хотят всего лишь выбраться из

переполненного города. „Да зачем это полиции нужно, чтоб мы прятались на ночевку по чужим верандам, просили милостыню на улицах и всем мешали?“ Так убедительно он говорил, что в конце концов Анна К. сдалась, поставив, однако, два условия: он еще раз сходит в полицию и узнает, не пришли ли разрешения, и не будет ее торопить, она хочет собраться в дорогу без спешки; Михаэл с радостью принял эти условия.

Наутро, вместо того чтобы ждать автобуса, который мог вообще не прийти, он пробежал легкой трусцой по шоссе от Си-Пойнта до самого центра, с удовольствием чувствуя, как крепки его мышцы, как ровно бьется сердце. К столу, где стояла табличка с надписью „Hervesting — Релокация“, тянулась длинная очередь, и он только час спустя предстал перед женщиной в полицейской форме с настороженными глазами — инструктором по перемещениям.

К. протянул ей два железнодорожных билета.

— Я хочу узнать, не пришло ли разрешение, — спросил он.

Инспектор подтолкнула к нему два знакомых бланка.

— Заполните их и отдайте в комнату Е-пять. При себе иметь билеты с талонами на заказан-

ные места. — Она перевела взгляд на мужчину, стоявшего за Михаэлом. — Слушаю…

— Погодите, — сказал К., стараясь удержать ее внимание. — Я уже заполнял такие бланки. Я только хочу узнать, не пришло ли уже разрешение?

— Сначала зарезервируйте места, потом получите разрешение! Вы зарезервировали места? На какое число?

— На восемнадцатое августа. Но моя мать…

— До восемнадцатого августа еще целый месяц! Если вы запросили разрешение и оно вам дано, получите его по почте. Следующий!

— Но об этом я и хочу справиться! Потому что, если не дали, мне надо решать по-другому. У меня больная мать…

Инспектор хлопнула ладонью по стойке.

— Не отнимай ты попусту время! В последний раз говорю: если разрешение дано, оно придет! Не видишь, какая очередь? Ты что, не понимаешь? Полоумный, что ли? Следующий!

Она облокотилась на стойку и поверх Михаэлова плеча демонстративно уставилась на очередь.

— Следующий! Да, ты!

Но К. не сдвинулся с места. Он тяжело дышал и не отводил от инспектора пристального взгляда.

Она еще раз с неприязнью на него поглядела — жидкие усики не скрывали его вывернутую губу.

— Следующий! — опять крикнула она.

Назавтра, за час до рассвета, К. поднял мать и, покуда она одевалась, нагрузил коляску: ящик застелил одеялами, а к спинке и боковинам положил подушки, чемодан подвесил к ручкам. Теперь над коляской был натянут черный пластиковый купол, и она стала похожа на высокую детскую коляску. Увидев ее, мать остановилась и покачала головой. „Не знаю, не знаю“, — обронила она. Пришлось ее уговаривать; время шло; наконец она взобралась на сиденье. Коляска оказалась не такая уж большая, он только теперь это понял: мать она выдерживала, но ей приходилось сидеть чуть пригнувшись под куполом, к тому же было тесно, она не могла двинуть ни рукой, ни ногой. На колени ей он положил одеяло, на него — пакет с едой, керосинку, в отдельной коробке бутылку с керосином, а поверх всего еще кое-какую одежду. В окнах соседней квартиры зажегся свет. С шумом бились о скалы волны.

— Всего день-два, — зашептал он матери, — и мы на месте. Старайся поменьше двигаться из стороны в сторону. — Она кивнула, но рук от лица не отняла. Он наклонился к ней. — Ты хо-

чешь остаться, ма? — спросил он. — Если хочешь, останемся.

Она покачала головой. Тогда он нахлобучил кепку, взялся за ручки и выкатил коляску на потонувшую в тумане дорогу.

Он выбрал самый короткий путь: мимо пустыря со старыми цистернами, к которому подступали выгоревшие внутри, разрушающиеся дома, милю доков, где чернели коробки складов, в которых ютилась теперь городская шпана. Никто их не останавливал, прохожие, повстречавшиеся им в этот ранний час, даже не взглянули в их сторону. Все более и более удивительные повозки и тележки поехали по улицам: грузовая тележка с рулевым управлением; трехколесный велосипед, на задней оси которого один на другом были установлены ящики; ручная тележка с подвешенными под днищем корзинами; упаковочная клеть на колесиках; тачки всевозможных размеров. Осел, который по теперешним временам стоил восемьдесят рандов, с тележкой на резиновом ходу стоимостью в добрую сотню рандов.

К. выдерживал ровный шаг, останавливаясь через каждые полчаса, чтобы растереть занемевшие руки и размять плечи. Как только он усадил мать в коляску, он понял, что из-за тяжести впе-

реди ось сместилась с центра, ушла назад. Теперь чем глубже усаживалась мать, стараясь устроиться поудобнее, тем тяжелее ему было везти коляску. Он старался все время улыбаться, чтобы мать ничего не заподозрила.

— Нам бы только выбраться на шоссе, — с трудом переводя дыхание, говорил он, — а там уже нас обязательно кто-нибудь подсадит.

К полудню они въехали в неприглядный заводской район Паарден-Эйланд. Двое рабочих, сидя на каменной стенке, жевали бутерброды; они молча глядели на проезжавшую мимо коляску. „ОПАСНАЯ ЗОНА!“ — предупреждала полустертая черная надпись на стене. Руки у К. совсем онемели, но он протащил коляску еще с полмили. Перед мостом через Черную речку он помог матери слезть с коляски и усадил ее на зеленый откос. Они позавтракали. Дороги были на удивление пустынны, это его озадачило. И такая вокруг тишина, что слышно, как поют птицы. Он лег навзничь в густой траве и закрыл глаза.

Разбудил его какой-то рокот. Сперва он решил, что это дальние раскаты грома. Однако рокот нарастал, волнами откатываясь от бетонных опор моста. Справа, со стороны города, на небольшой скорости приближались две пары мотоцикли-

стов в полной военной выкладке, с винтовками за плечами, а за ними ехал броневик со стрелком в открытом люке. Далее следовала длинная колонна тяжелых грузовиков, в большинстве порожних. К. подполз по откосу повыше и сел рядом с матерью; они сидели бок о бок в страшном грохоте, от которого, казалось, затвердел воздух, и смотрели на машины. А они все ехали и ехали. В хвосте потянулись легковые автомобили, фургоны и пикапы, за ними проехал зеленый армейский грузовик с брезентовым верхом, под которым они разглядели сидящих в два ряда солдат в касках, потом еще четверка мотоциклистов.

Один из них — из первой пары — повернул голову и внимательно посмотрел на К. и его мать. И тут два замыкающих мотоциклиста отклонились от колонны и подъехали к обочине. Один остался у обочины, другой поднялся на откос.

— На трассе останавливаться запрещено, — подняв щиток шлема, сказал он и заглянул в коляску. — Ваша?

К. кивнул.

— Куда направляетесь? — спросил мотоциклист. К. хотел ответить, но из горла вырвался какой-то шепот, ему пришлось прокашляться и

повторить:

— В Принс-Альберт. Это в Кару.

Мотоциклист присвистнул, легонько катнул коляску и что-то крикнул своему напарнику. Потом опять повернулся к К.

— Тут дальше по шоссе контрольный пункт. Остановишься и покажешь разрешение. У вас есть разрешение на выезд из города?

— Да.

— Выезд без разрешения запрещен. Отправляйся на контрольный пункт, предъявишь там разрешение и документы. И слушай меня внимательно: если вам захочется остановиться, отъезжай на пятьдесят метров в сторону. Можешь вправо, можешь влево, куда захочешь. Остановитесь ближе — будут стрелять без предупреждения. Понятно?

Михаэл кивнул.

Мотоциклисты вскочили в седла своих машин и с ревом умчались вдогонку за колонной. К. не отваживался взглянуть на мать.

— Надо было нам выбрать дорогу поспокойнее, — наконец сказал он.

Ему бы, сразу повернуть обратно, но, страшась еще одного унижения, он помог матери усесться в коляске и докатил ее до старых ангаров, где и в

самом деле стоял у дороги „джип“, а три солдата кипятили на походной печке чай. Однако его просьбы были напрасны.

— Есть у тебя разрешение или нет? — допытывался капрал. — Плевать мне, кто ты такой и что с твоей матерью. Нет разрешения — выезд запрещен, и точка.

К. повернулся к матери. Она безучастно смотрела на молодого солдата из-под черного купола.

Капрал замахал на них руками.

— Не нужны мне из-за вас неприятности! — закричал он. — Сначала получите разрешение, тогда пропущу!

К. взялся за ручки коляски и покатил ее под арку; капрал проводил их взглядом. Одно колесо на коляске начало вихляться.

Уже опустилась ночь, когда они миновали светофор, от которого начиналась Бич-роуд. Автомобили, перегораживавшие шоссе во время недавних событий, оттащили на газоны. В двери комнатки под лестницей все еще торчал ключ. В ней все было так, как они оставили: тщательно прибранная, чистая, готовая к въезду нового жильца. Не сняв пальто и шлепанцев. Анна К. рухнула на голый матрац; Михаэл втащил их пожитки. Подушки намокли под дождем.

— Через день-другой мы попробуем снова, ма, — тихо сказал Михаэл. Она качнула головой.

— Ма, разрешение не придет! — добавил он. — Попробуем еще раз, только теперь мы двинемся окольными дорогами. Не могут же они перекрыть все дороги.

Михаэл присел на краешек матраца, положил руку ей на плечо и сидел так, покуда она не заснула; потом он поднялся наверх и проспал ночь в квартире Бёрманнов.

Два дня спустя, задолго до рассвета, они выехали с Си-Пойнта и двинулись дальше. Правда, уже не в том приподнятом настроении, что в первый раз. Теперь К. понимал, что им, может статься, придется провести в дороге не одну ночь. А мать и вовсе потеряла всякую охоту к дальним путешествиям. Она жаловалась на боли в груди и хмурая, точно застыв, сидела под пластиковым пологом, который К. прикрепил спереди, чтобы дождь не заливал ей колени. Коляска ходко катилась по мокрому гудрону, только поскрипывали шины; на сей раз Михаэл выбрал другой маршрут: через центр, по Сэр Лаури-роуд, по Мейн-роуд, через пригород, по железнодорожному мосту через Моубрей, мимо бывшей детской больницы и дальше по старой Клипфонтейн-роуд. Здесь, возле поля

для игры в гольф, у смятой проволочной изгороди, за которой лепились крытые жестью фанерные хибары, они сделали первую остановку. Когда они поели, К. стал на обочине, рядом с коляской, в надежде остановить попутную машину. Движенья на дороге почти не было. Проехали один за другим три грузовичка, с затянутыми сеткой фарами и стеклами. Потом запряженная гнедыми лошадьми с колокольцами в сбруе красивая повозка, полная детишек; они принялись хохотать и строить рожи, показывая пальцами на одиноких путников. Довольно долго не ехал никто, но вот наконец возле них притормозил грузовик, и шофер не только предложил подбросить их до цементного завода, но и помог К. погрузить в кузов коляску. Сидя в теплой, сухой кабине и следя краем глаза, как мелькают километровые знаки, К. тронул локтем мать, и она слабо улыбнулась ему в ответ.

Однако на этом и кончилось их везение в тот день. У цементного завода они простояли больше часа: пешеходы и велосипедисты текли волной, но машина проехала всего лишь одна — городской мусоровоз. Солнце клонилось к закату, ветер все больнее сек лицо; К. выкатил коляску на дорогу и снова пустился в путь. „Может, так и

лучшее, — думал он, — ни от кого не зависеть“. После первой поездки он сдвинул ось на два дюйма вперед, и теперь на ходу коляска была легче перышка. Вскоре он обогнал человека с тачкой, нагруженной хворостом, и тот приветственно ему кивнул, когда они поравнялись. Мать сидела в своей маленькой темной кабинке, сдавленная высокими бортами, глаза у нее были закрыты, голова поникла.

За полмили до большой автострады К. остановился, помог матери выбраться из коляски и, оставив ее на обочине, углубился в заросли кустарника поискать место для ночевки. Сквозь облака проглядывала туманная луна. В этом первозданном хаосе сплетенных корней, влажной земли и гнилостных запахов не было даже малого клочка, защищенного от сырости и холода. Дрожа, он вернулся к дороге.

— Знаешь, там не очень приятно, — сказал он матери, — но что поделаешь, придется одну ночь перетерпеть.

Он спрятал в кусты коляску и, одной рукой поддерживая мать, а в другую взяв чемодан, повел ее в заросли. Они съели холодные бутерброды и расположились на подстилке из листьев, сквозь которую их одежду постепенно пропитывала

сырость. В полночь заморосил дождь. Они прижались друг к другу под чахлым деревцем, подняв над головами одеяло, а дождик все шел и шел. Когда одеяло намокло, Михаэл пополз на четвереньках к коляске и стянул с нее пластиковый полог. Он преклонил голову матери на свое плечо — она дышала с трудом, частыми хриплыми вздохами. Только теперь он понял, почему она перестала жаловаться: она, видно, совсем измучилась или ей стало все безразлично.

Он намеревался пуститься в дорогу пораньше, до того, как рассветет, чтобы дойти до поворота на Стелленбос и Парл. Но на рассвете мать все еще спала, привалившись к его боку, и ему не захотелось ее будить. Потеплело, и он сам не мог одолеть дремоту. Когда он наконец вывел мать к дороге, было уже часов десять. Здесь, пока они укладывали в коляску намокшие одеяла, к ним пристали двое прохожих; наткнувшись в пустынном месте на исхудавшего парня и старуху, эти двое решили, что их можно безнаказанно обобрать. Чтобы все было ясно, один из грабителей показал К. большой нож, вытряхнув его из рукава на ладонь, а второй в это время уже схватился за чемодан. Но в то мгновенье, когда блеснул нож, К. понял, что он снова будет сейчас

унижен на глазах у матери, он представил себе, как потащится с коляской назад, в комнатенку на Си-Пойнте, и будет сидеть там на матраце в углу день за днем, заткнув уши, чтобы не слышать молчания матери. Он сунул руку в коляску и выхватил оттуда свое единственное оружие — обрезок от оси длиной в полметра. Размахивая им над головой и прикрыв левой рукой лицо, он шагнул к парню с ножом, и тот отпрянул назад, а мать оглашала воздух пронзительными криками. Грабители отступили. Молча, с пылающими яростью глазами, не выпуская из руки обрезок оси, К. водворил на место чемодан, помог трясущейся матери взобраться на коляску; грабители выжидали метрах в двадцати. Но вот он выкатил коляску на шоссе и постепенно стал отдаляться от них. Какое-то время парни еще преследовали их, и тот, что был с ножом, выкрикивал угрозы и ругательства. Потом, так же неожиданно, как и появились, они исчезли в кустах.

Машин на шоссе не было, но по его середине, там, где обычно никто не ходит, шло много нарядно одетых людей. По обочинам тянулись густые заросли высоких, в рост человека, сорняков; асфальт на дороге потрескался, в трещинах пробивалась трава. К. поравнялся с тремя де-

вочками, сестричками, одетыми в одинаковые розовые платьица, — они шли в церковь. Девочки заглянули в коляску к миссис К. и завели с ней разговор. До самого поворота на Стелленбос старшая девочка шла рядом с коляской и держала миссис К. за руку. Прощаясь, миссис К. вынула кошелек и дала каждой девочке по монетке.

Девочки рассказали им, что по воскресеньям военные колонны не ездят, однако на Стелленбосском шоссе мимо них потянулась вереница фермерских грузовиков во главе с затянутым тяжелой ячеистой сеткой фургоном, у заднего борта которого, в открытом проеме, стояли два солдата с автоматами наперевес.

К. поспешно съехал на обочину. Люди с любопытством глазели на коляску, а дети показывали пальцами и что-то выкрикивали. К. не расслышал, что они кричали.

По обе стороны от шоссе раскинулись пустые, с оголенными лозами виноградники. В небе вдруг возникла стайка воробьев, словно материализовалась из воздуха, и расселась по кустикам вокруг, потом воробьи так же разом вспорхнули и унеслись. Издалека донесся колокольный звон.

Михаэлу почему-то вспомнился приют: он сидит на койке в лазарете, шлепает ладонью по

подушке и смотрит, как пляшут в солнечном луче пылинки.

Уже стемнело, когда он на исходе сил дотащился до Стелленбоса. Улицы были пусты, задул холодный порывистый ветер. Он не представлял себе, где они устроятся на ночь. Мать кашляла и после приступа никак не могла отдышаться. Он остановился у первого же кафе и купил пирожков с мясом. Съел сразу три, мать один. Она совсем потеряла аппетит.

— Может, обратиться к врачу? — спросил он.

Она покачала головой и похлопала себя по груди.

— Горло совсем пересохло, — сказала она, — а так ничего.

Похоже, она рассчитывала завтра или послезавтра добраться до Принс-Альберта, и он не стал ее разочаровывать.

— Запамятовала я, как называлась наша ферма, — сказала она, — но можно поспрашивать, люди ведь помнят. Там был длинный загон у курятника, а на взгорке — насос. Жили мы в домике на косогоре. У заднего крыльца росла дикая груша. Это место ты и ищи.

На ночь они устроились в каком-то проулочке; Михаэл расправил картонные коробки и

постелил их на земле. Одной длинной полосой загородил их ложе с подветренной стороны, но ветер задувал поверх картона. Мать кашляла всю ночь напролет, и он совсем не спал. Один раз по улице медленно проехала патрульная машина, и ему пришлось зажать матери рот рукой.

Едва рассвело, он усадил мать в коляску. Голова у нее совсем поникла, и, видно, она не понимала, где находится.

Михаэл остановил первого попавшегося прохожего и спросил, как проехать в больницу. Анна К. уже не могла держаться прямо, она валилась вперед, и Михаэл с трудом удерживал коляску.

— Ужасно пересохло горло, — еле слышно шептала она, а сама то и дело отхаркивалась.

В больнице он посадил мать на скамью, сам сел рядом и держал ее, покуда до них не дошла очередь и ее не увезли. Когда он отыскал ее немного погодя, она лежала на каталке, посреди целого моря каталок, без сознания, с трубкой в носу. Не зная, что предпринять, он ходил взад-вперед по коридору, пока его не выдворили. Вторую половину дня он провел на больничном дворе, греясь в слабых лучах зимнего солнышка. Дважды он прокрадывался в коридор, где стояли каталки, посмотреть, не увезли ли мать. На третий раз он

на цыпочках подошел к матери и склонился над ней. Ему показалось, что она не дышит. Сердце у него сжалось от страха, он подбежал к сестре за столиком и потянул ее за рукав.

— Скорее, прошу вас! Посмотрите на нее! — срывающимся голосом проговорил он. Сестра стряхнула его руку.

— Это еще что! — прошипела она.

Но все-таки пошла за ним к каталке и, глядя куда-то в пространство, стала прощупывать у матери пульс. Потом, без единого слова, вернулась за столик. К. стоял возле нее, как безгласный пес, покуда она что-то записывала. Наконец она повернулась к нему.

— А теперь послушай меня, — сдавленным шепотом заговорила она. — Видишь ты, сколько здесь людей? — Она показала на коридор и палаты. — И все ждут, когда я к ним подойду. Мы по двадцать четыре часа в сутки тут с ними возимся. А когда я сдаю дежурство… нет, ты не уходи, ты выслушай меня! — Теперь она тянула его за рукав и почти кричала ему в лицо, а в глазах ее стояли слезы: — Когда я сдаю смену, я такая вымотанная, что даже есть не могу, валюсь спать, не сняв туфель. Ты видишь — я тут одна! Не двое, не трое — одна. Понимаешь ты? Неужели это так

трудно понять?

К. отвел глаза.

— Извините, — пробормотал он, не найдясь, что ответить; он снова побрел во двор.

Чемодан остался при матери. Денег у него не было, только какая-то мелочь — сдача от вчерашних пирожков. Он купил пончик и напился воды из-под крана. Потом побрел по улицам, разгребая ногами толстый слой опавшей листвы. Зашел в парк и посидел на скамейке. Сквозь голые ветви просвечивало бледно-голубое небо. Белка заверещала у него над головой, и он вскочил. Он вдруг забеспокоился, как бы не украли коляску, и заспешил обратно в больницу. Коляска стояла на том месте, где он ее оставил. Он вынул из нее одеяла, подушки и керосинку, потом сложил все обратно — девать их было некуда.

В шесть заступила новая смена, и он решил проникнуть в отделение. Матери в коридоре не было. Он спросил у дежурной сестры, где она, и та направила его в дальнее крыло больницы, но там никто не мог ему ничего сказать. Он вернулся к дежурной, и она велела ему прийти утром. Он спросил, можно ли ему переночевать на скамейке в холле, и получил отказ.

Спал он в проулке, сунув голову в картонную

коробку. Ему приснился сон: с большим пакетом гостинцев мать приехала навестить его в приют „Нореииус“. „Коляска катится так медленно, — сказала она ему во сне, — принц Альберт вышел навстречу, он заберет меня“. Пакет был на удивление легким. Михаэл проснулся такой заледеневший, что не мог шевельнуть ногой. Часы вдалеке пробили три, а может, четыре удара. На ясном небе сияли звезды. Как ни странно, сон не оставил тяжести у него на душе. Завернувшись в одеяло, он сперва походил по проулку, потом вышел на улицу и стал разглядывать затененные витрины магазинов, где за ромбовидными ячейками решетки манекены демонстрировали весеннюю моду.

Когда наконец его впустили в больницу, мать — уже не в черном пальто, а в белой больничной рубашке — лежала в женской палате. Глаза у нее были закрыты, из ноздри тянулась вчерашняя трубка. Рот у матери запал, лицо заострилось, даже кожа на руках, казалось, покрылась морщинами. Он сжал ее руку, но она не шевельнулась в ответ. Койки в палате стояли в четыре ряда, так тесно, что между ними едва можно было протиснуться; сесть было не на что.

В одиннадцать санитарка принесла чай и гале-

ту на блюдечке и поставила возле материнской койки. Михаэл приподнял матери голову и приложил кружку к губам, но она не стала пить. Он долго ждал, чай стыл, в животе у него урчало. Потом, когда санитарка стала собирать кружки, залпом выпил чай и проглотил галету. На спинке койки висел температурный лист; Михаэл долго его разглядывал, но так и не понял, относятся эти цифры к его матери или к кому-то другому.

Он вышел в коридор, остановил мужчину в белом халате и спросил, не найдется ли для него в больнице какая-нибудь работа.

— Денег мне не нужно, — сказал он, — просто хочу что-то делать. Подметать полы или еще что. Убирать в саду.

— Спроси в канцелярии на первом этаже, — ответил мужчина и прошел мимо. К. так и не нашел эту канцелярию.

Во дворе с ним заговорил какой-то больной.

— Лег сюда заячью губу зашивать? — спросил он.

К. покачал головой. Больной с сомнением посмотрел на него. Потом рассказал ему длинную историю про то, как на него наехал трактор и раздробил ему ногу и бедро, а доктора вставили ему в кости гвозди, серебряные гвозди, которые

никогда не заржавеют. Ходил он, опираясь на странно изогнутую алюминиевую палку.

— Где бы мне поесть? — спросил К. — Со вчерашнего дня не ел.

— Слушай, приятель, — живо откликнулся мужчина, — купи-ка ты нам обоим по пирогу. — И дал К. монету.

К. сходил в булочную и принес два горячих пирога с курятиной. Он сел на скамейку рядом со своим новым другом и начал есть. Пирог был такой вкусный, что у К. выступили слезы на глазах. Человек с палкой рассказывал, какая вдруг на его сестру нападает трясучка. К. слушал, как поют птицы в ветвях, и все пытался вспомнить, было ли ему когда-нибудь в жизни так хорошо, как сейчас.

Он провел возле матери час днем и еще один час вечером. Лицо у нее посерело, дыхание еле теплилось. Один раз челюсть у нее двинулась: К. смотрел, как загипнотизированный, на струйку слюны, которая вытекла из ее сморщенных раздвинувшихся губ. Мать как будто что-то шептала, но он не мог разобрать. Сестра, которая пришла его выпроваживать, сказала, что матери впрыскивают снотворное.

— Зачем это? — спросил К.

Едва сестра отошла, К. выпил чай, который стоял возле матери и возле старухи на соседней койке, — залпом, как шкодливый пес.

Придя в проулок, где он проспал прошлую ночь, он обнаружил, что его картонные коробки исчезли, — видно, кто-то их выбросил. Этой ночью он спал в подъезде какого-то дома, у двери. На медной дощечке над своей головой он прочел: „Ле Ру и Хаттинг — юристы“. Проехавшая мимо полицейская машина разбудила его, но он заснул снова. Озяб он меньше, чем прошлой ночью.

На койке, где вчера лежала его мать, он увидел другую женщину, с забинтованной головой. К. стоял в ногах и глядел на нее. Может быть, я спутал палату, подумал он. Он подошел к сестре.

— Моя мать… она вчера тут лежала…

— Спроси вон за тем столом, — сказала сестра.

— Ваша мать этой ночью скончалась, — сказала ему женщина-врач. — Мы сделали все, что могли, чтобы спасти ее, но она была очень слаба. Вы не оставили номера вашего телефона — мы хотели с вами связаться.

Михаэл бессильно опустился на стул в углу.

— Вы сделаете вызов по телефону? — спросила докторша.

Это, конечно, что-то означало, но Михаэл не

понял, что именно. Он покачал головой.

Кто-то принес ему кружку с чаем, и он выпил. Над ним склонялись какие-то люди, и от этого он нервничал. Сжав ладони, он уставился на свои ноги. Должен ли он что-то сказать? Он разнял руки, снова их сжал, опять разнял, опять сжал.

Его повели вниз посмотреть на мать. Она лежала, вытянув руки по бокам, в больничной рубашке с надписью на груди. Трубку из носа убрали. Он смотрел на нее, потом стал мучительно соображать, куда ему отвести взгляд.

— Еще какие-то родственники у нее есть? — спросила дежурная сестра. — Хочешь им позвонить? Или хочешь, чтоб позвонили мы?

— Ничего не нужно, — ответил К. Он отошел от стола и опять сел на стул в углу.

Его оставили в покое, а в обед принесли поднос с больничной едой, и он ее съел.

Потом к нему подошел мужчина в костюме и галстуке и заговорил с ним. Он должен сообщить полное имя матери, ее возраст, местожительство, вероисповедание. По какому делу она приехала в Стелленбос? У него ли находится разрешение на выезд?

— Я вез ее на родину, — ответил К. — Она жила в Кейптауне, там холодно, все время дождь, это

было вредно для ее здоровья. Я вез ее туда, где ей стало бы лучше. Мы не собирались останавливаться в Стелленбосе. — Тут он забеспокоился, что говорит много лишнего, и больше на вопросы не отвечал. В конце концов мужчина перестал спрашивать и ушел. Потом немного погодя возвратился, присел перед ним на корточки и спросил:

— А ты сам находился когда-нибудь в психиатрической больнице, или в заведении для дефективных, или в каком-нибудь приюте? Тебе когда-нибудь платили жалованье?

К. не отвечал.

— Подпишись вот здесь, — сказал мужчина и протянул бумагу, указывая место, где поставить подпись.

Но К. покачал головой, и мужчина подписал бумагу сам.

Заступила ночная смена, и К. побрел на автостоянку. Он ходил взад-вперед и смотрел на ясное ночное небо. Потом вернулся в больницу и сел на свой стул в углу. Никто его не выгонял. Позднее, когда все ушли, он спустился вниз, чтобы найти мать. Но не смог ее найти, а может, дверь в то помещение была закрыта. Он забрался в большой проволочный ящик, где лежало грязное белье,

свернулся калачиком и проспал там до утра.

На второй день после смерти матери к нему подошла медсестра, которую он прежде никогда не видел.

— Пойдем, Михаэл, все готово, — сказала она.

Он последовал за ней к столу в холле. Там его дожидался материн чемодан и два коричневых свертка.

— Одежда и все вещи твоей покойной матери, в этом чемодане, — сказала незнакомая сестра. — Можешь его забрать. — Она была в очках и говорила таким ровным голосом, будто читала по бумажке. К. заметил, что девушка, которая сидела за столом, краем глаза следит за ними. — Вот в этом свертке, — продолжала сестра, — прах твоей матери. Сегодня утром ее кремировали, Михаэл. Мы можем захоронить прах или выдать тебе — решай сам. — Она вопросительно коснулась ногтем свертка, в котором, был прах. Оба свертка были аккуратно перевязаны коричневой тесемкой; тот, что с прахом, был поменьше. — Хочешь, чтоб мы взяли это на себя? — спросила она и легонько провела по свертку пальцем.

К. покачал головой.

— А вот сюда, — продолжала сестра, решительно подвинув к нему второй сверток, — мы

положили кое-какие вещи, которые могут тебе пригодиться — одежду и бритвенные принадлежности.

Она ласково посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Девушка за столом снова застучала на машинке.

Значит, здесь есть место, где сжигают, подумал К. Он представил старух из палаты, которых одну за другой суют в огнедышащую печь: глаза у них закрыты, губы сжаты, руки вытянуты по бокам. Сначала занимаются волосы — вспыхивают ярким венцом, а чуть погодя и все остальное, все горит, рассыпается в прах. Печь пылает, и туда все время кого-то суют.

— Но откуда я знаю? — сказал он.

— Что знаешь? — спросила сестра.

Он резким движением руки указал на сверток.

— Откуда я знаю? — с вызовом повторил он.

Она не захотела ему ответить или не поняла, что он от нее добивается.

Выйдя во двор, он развязал сверток, тот, что побольше. В нем лежали безопасная бритва, кусок мыла, полотенце, белая куртка с нашивками на плечах, черные брюки и черный берет с блестящей кокардой, на которой было написано: „Св. Иоанн. Скорая помощь“.

Он протянул одежду девушке за столом. Сестра в очках куда-то исчезла.

— Почему вы мне это даете? — спросил он.

— А что вы меня спрашиваете? — сказала девушка. — Наверно, кто-то оставил… — Она не смотрела ему в лицо.

Он выбросил мыло и бритву, хотел было выбросить и куртку с брюками, но раздумал. Его собственная одежда начала попахивать.

Ничто его теперь здесь не держало, но он никак не мог заставить себя уйти из больницы. Днем он бродил со своей коляской по соседним улицам. Ночью спал под мостами, под живыми изгородями в проулках. Ему было странно видеть, как дети катят на велосипедах домой из школы, трезвоня что есть силы, обгоняя друг друга; странно видеть, что люди едят и пьют, как обычно. Он пробовал искать работу, походил поспрашивал по соседним домам, не нужен ли садовник, но скоро потерял всякую охоту, он весь сжимался, когда хозяева открывали перед ним дверь — с такой брезгливостью они смотрели на него; впрочем, разве они обязаны его жалеть? Если шел дождь, он забирался под коляску. В иные дни он подолгу сидел и разглядывал свои руки, без единой мысли в голове.

Потом прибился к группе мужчин и женщин, которые спали под железнодорожным мостом, а днем обретались на пустыре за винной лавкой на Андринга-стрит. Случалось, он одалживал им коляску. В порыве великодушия давал даже пользоваться керосинкой. Потом, ночью, когда он спал, кто-то попытался вытащить у него из-под головы чемодан. Он бросился на вора с кулаками, а наутро ушел от этих людей.

Как-то возле него остановилась полицейская машина, и двое полицейских обыскали его коляску. Раскрыли чемодан и стали в нем рыться. Потом развязали тесемку на свертке. В нем была коробка, а внутри нее полиэтиленовый пакет с темным, серым пеплом. К. увидел его впервые. Он отвел глаза в сторону.

— Что это? — спросил полицейский.

— Прах моей матери, — сказал К.

Полицейский с сомнением перебросил пакет из одной руки в другую и сказал что-то своему напарнику. К. не разобрал что.

В иные дни он часами стоял на тротуаре против больницы. Теперь она казалась ему меньше, чем прежде, просто длинное низкое строение с красной черепичной крышей.

Он перестал следить за комендантским часом.

Что они с ним сделают? А хоть и сделают, не все ли равно? В новой одежде — белая куртка, черные брюки и берет — он расхаживал со своей коляской всюду, где хотел. Временами у него начинала кружиться голова. Он чувствовал себя слабее, чем прежде, но это была не болезнь. Ел он один раз в день, покупал булочку или пирожок, беря деньги из материнского кошелька. Приятно было тратить деньги, не зарабатывая их: его не заботило, что они исчезают так быстро.

Он оторвал черную полосу от подкладки материнского пальто, обвязал ею рукав куртки. Но он не тосковал по матери, он это понял, во всяком случае, не больше, чем всю свою жизнь.

Заняться было нечем, и он все больше и больше спал. Он обнаружил, что может спать где угодно, в любое время и в любом положении: средь бела дня на тротуаре, когда люди шли мимо и переступали через него; стоя, прислонившись к стене, зажав чемодан между ног. Сон окутывал его голову милосердным туманом: у него не было никакого желания бодрствовать. Сны ему не снились вовсе — никто не снился и ничего не снилось.

Однажды исчезла коляска. Он тут же о ней забыл.

Так надо было — он должен был прожить в Стелленбосе какой-то срок. И его никак нельзя было уменьшить. День тянулся за днем, он брел по ним и не знал, куда бредет.

Одним хмурым туманным утром он, как не раз бывало, с чемоданом в руке шел по Банхук-роуд. Позади зацокали копыта, пахнуло конским навозом, и его медленно нагнала телега — старая зеленая муниципальная телега, на которой стояли мусорные контейнеры без крышек; телегу тянул старый битюг, а правил старик в черном клеенчатом плаще. Какое-то время они двигались рядом. Старик кивнул К., и тот, поколебавшись с минуту, вгляделся в туманную даль и, поняв, что ничего его больше здесь не удерживает, взобрался на телегу и сел рядом со стариком.

— Спасибо, — сказал К. — Может, вам нужно помочь — я помогу.

Но старик не нуждался в помощи, да и разговаривать был не склонен. Они выехали из города и проехали еще целую милю, потом старик ссадил К., а сам свернул на грязный проселок. К. шел весь день, а ночь проспал в эвкалиптовой роще; высоко над его головой шумел в ветвях ветер. К середине следующего дня он вышел к Паарлу, обогнул его стороной и двинулся по шоссе на се-

вер. Остановился он только, когда увидел первый контрольный пункт, и подождал в укрытии, пока не убедился, что пешеходов не задерживают.

Несколько раз мимо него проезжали автоколонны с вооруженной охраной. Он сходил с дороги и стоял на виду, даже не делая попытки укрыться, выставив напоказ руки, как он видел, делали другие путники.

Ночь он проспал на обочине и проснулся весь мокрый от росы. Дорога впереди поднималась в гору, теряясь в тумане. Порхая с ветки на ветку, негромко щебетали птицы. Он нашел палку, повесил на нее чемодан и перекинул через плечо. Два дня он ничего не ел; похоже, он мог голодать бесконечно.

Он прошел примерно с милю, и вот в тумане замерцал огонек и послышались чьи-то голоса. Подойдя поближе, почуял запах жарившегося бекона, и у него засосало под ложечкой. Несколько мужчин грелись у костра. Когда он подошел поближе, они смолкли и уставились на него. Он коснулся рукой берета, приветствуя их, но никто ему не ответил. Он прошел дальше, миновал второй придорожный костер, машины, которые стояли с зажженными фарами, утыкаясь одна в другую, и только тогда ему открылась причина

остановки. Поперек дороги лежал на боку небесно-голубого цвета фургон с прицепом, задние его колеса повисли над краем кювета. Кабина у него была выжжена изнутри, кузов почернел от копоти. На фургон налетел грузовик, груженный мешками с мукой — на дороге белели мучные горки. За поворотом, сколько хватал глаз, тянулся хвост колонны. Громко играли два радиоприемника, будто станции старались перекричать друг друга; откуда-то издалека доносилось жалобное блеяние овец. К. хотел было набить карманы просыпавшейся мукой, но потом подумал: а что он с ней будет делать? Он шел мимо машин, прошел мимо тягача с овцами — их так плотно набили, что некоторые вздыбились на задних ногах; прошел мимо группы солдат, расположившихся вокруг костра; они и не посмотрели в его сторону. За последней машиной ярко горели два сигнальных огня, а еще дальше на середине дороги без всякого присмотра пылал в бочке деготь.

Колонна осталась позади, и К. облегченно вздохнул, радуясь, что никто его не задержал, однако за следующим поворотом из кустов выступил солдат в маскировочной одежде и уставил ему в грудь автомат. К. остановился. Солдат опустил автомат, закурил сигарету, затянулся и снова

вскинул автомат. „Теперь, — подумал К., — он целится мне в лицо или в горло“.

— Ты кто такой? — спросил солдат. — И куда это ты направляешься?

К. хотел ответить, но солдат оборвал его.

— А ну давай показывай, — крикнул солдат. — Ну-ка, покажи, что там у тебя?

От колонны их не было видно, хотя музыка сюда доносилась. К. снял чемодан с плеча и раскрыл его. Солдат махнул ему, чтобы он отошел, затушил сигарету и одним рывком перевернул чемодан. Все вывалилось на дорогу: голубые войлочные шлепанцы, белое трико, розовая бутылочка с лосьоном, коричневый флакон с пилюлями, желтовато-коричневая пластмассовая сумочка, цветастый шарф, шарфик с фестонами, черное шерстяное пальто, шкатулка с украшениями, коричневая юбка, зеленая блузка, туфли, еще белье, бумажные пакеты, белый полиэтиленовый пакет, жестянка из-под кофе, в которой что-то звякнуло, тальк, носовые платки, письма, фотографии, коробка с пеплом. К. не шевельнулся.

— Где ты все это украл? — спросил солдат. — Ты ворюга, да? Наворовал и удираешь в горы? — Он ткнул башмаком в сумочку. — А ну, открой! — сказал он. Потом ткнул в шкатулку, в кофейную

жестянку и в коробку. — Давай, давай, показывай, — сказал он и отступил в сторону.

К. открыл кофейную жестянку. Там лежали кольца от занавесок. Он подержал их на ладони, потом ссыпал обратно в жестянку и закрыл ее. Открыл шкатулку и протянул ее солдату. Сердце у К. громко забилось в груди. Солдат порылся там, вынул брошку и отступил. К. закрыл шкатулку. Он раскрыл сумочку и протянул ее солдату. Тот знаком показал ему, чтоб он высыпал все на землю. В сумочке были носовой платок, расческа и зеркальце, прессованная пудра и два кошелька. Солдат показал на них, и К. отдал ему кошельки. Солдат сунул их в карман куртки.

К. облизнул губы.

— Это не мои деньги, — хрипло сказал он. — Это деньги моей матери, она их заработала. — Он сказал неправду: мать его умерла, она уже не нуждалась в деньгах. И все же… Солдат ничего не ответил. — Зачем война идет, как ты считаешь? — спросил К. — Чтобы отбирать у людей деньги?

— Зачем война идет, как ты считаешь? — кривя рот, передразнил его солдат. — Поосторожнее, ворюга! Думай, что говоришь. Ты Бога благодари, а то валяться бы тебе в кустах на радость мухам.

А еще толкуешь тут про войну! — Он ткнул дулом автомата в коробку с пеплом. — Открывай! — приказал он.

К. отодвинул на коробке крышку и протянул коробку солдату.

Тот уставился на полиэтиленовый пакет.

— Это что такое? — спросил он.

— Пепел, — ответил К. Голос у него стал спокойнее.

— Раскрой его, — сказал солдат. К. раскрыл пакет. Солдат взял щепотку пепла и осторожно понюхал.

— Господи помилуй! — сказал он. Глаза его встретились с глазами К.

К. опустился на колени и сложил материнские вещи обратно в чемодан. Солдат стоял рядом.

— Теперь мне можно идти? — спросил К.

— Документы в порядке, — можешь идти, — сказал солдат.

К. вскинул палку с чемоданом на плечо.

— Минутку, — сказал солдат. — Ты что, работаешь на скорой помощи? К. покачал головой.

— Эй, погоди-ка, — сказал солдат. Он достал из кармана один кошелек, вытянул из пачки денег коричневую десятку и швырнул ее К. — Вот тебе чаевые, — сказал он. — Купишь себе моро-

женого.

К. шагнул назад и подобрал бумажку. Потом пошел по дороге. Через минуту-другую солдат растаял в тумане.

Нет, он не струсил, думал он. Но все же немного погодя его осенило, что теперь ему нет смысла тащить чемодан. Он поднялся на откос и спрятал чемодан в кустах, оставив у себя только черное пальто, чтобы укрываться им, и коробку с пеплом; крышку чемодана он закрывать не стал — пусть льет туда дождь, пусть палит солнце, пусть, если хотят, заползают насекомые.

Встречные транспорты, как видно, придержали — на шоссе, кроме него, никого не было. Под вечер вдали показался туннель, уводящий дорогу под гору; у входа в туннель стоял постовой. Сойдя с дороги, Михаэл поднялся на откос и стал пробираться сквозь мокрый густой кустарник; в сумерки он оказался на высокой седловине, откуда открывался вид на Эланд-ривер и шоссе, идущее на север. Где-то вдалеке перекликались обезьяны. Ночь он проспал под выступом скалы, завернувшись в материнское пальто и положив рядом с собой палку. На рассвете он снова тронулся в путь и сделал большую петлю на спуске в долину, чтобы обойти стороной мост. По шоссе

проехала первая колонна.

Весь день он шел, держась по возможности в стороне от дороги. Переночевал в бунгало у поросшей высокой травой площадки для игры в регби, отгороженной от дороги шеренгой эвкалиптов. Окна в бунгало были разбиты, дверь сорвана. Пол был усеян битым стеклом, валялись старые газеты, на них лежали опавшие листья; в щели стен проросла бледно-желтая трава, под трубами водопровода лепились улитки; но крыша оказалась целой. Он сгреб в угол листья, постелил на них газеты, но спал беспокойно — порывы ветра и ливень будили его.

Когда он поднялся, дождь все еще шел. От голода кружилась голова. Он встал на пороге и обвел взглядом напитанные влагой зеленые луга и мокрые деревья, туманные седые холмы вдали. С час он ждал, не утихнет ли дождь, потом поднял воротник пальто и выскочил прямо под ливень. В дальнем конце площадки он перелез через изгородь из колючей проволоки и вступил в яблоневый сад, заросший травой и бурьяном. Под ногами валялись источенные червяком яблоки, а те, что висели на ветках, перезрели и подгнили. Черное пальто облепило его точно кожа, берет размок и сполз на уши. а он все стоял

под яблонями, выкусывал чистую мякоть и, глядя перед собой невидящим взглядом, быстро, как кролик, жевал.

Он уходил все глубже и глубже в сад. Повсюду царило запустение. Ему уже начало казаться, что это — покинутая всеми земля, но тут яблони кончились, и перед ним открылся возделанный участок земли, за которым он разглядел кирпичные строения и рядом тростниковую крышу и белые стены фермерского дома. По участку тянулись аккуратные ряды овощей: цветная капуста, морковь, картофель. Он вышел под проливной дождь и, опустившись на четвереньки, стал дергать из размякшей земли желтую мелкую морковку. „Это божья земля, я не вор“, — думал он. И ждал: вот-вот из заднего окна дома щелкнет выстрел и к нему помчится огромная овчарка. Набив карманы морковкой, он со страхом выпрямился. Он хотел было забрать ботву с собой и разбросать под деревьями, но оставил ее на грядке.

Ночью дождь перестал. Утром, в промокшей насквозь одежде, К. снова тронулся в путь; живот у него от яблок и моркови вздулся и болел. Заслышав шум моторов, он скрывался в кустах, хотя ему казалось, что теперь, в грязной одежде, исху-

давший, он стал похож на бродягу из глубинки, который и понятия не имеет, что нужны какие-то документы; безразличный, вялый бродяга, кому он страшен? Одна из колонн, сопровождаемая эскортом мотоциклов — броневики и грузовики с молодыми солдатами в касках, — ехала мимо него целых пять минут. Он, затаясь, смотрел из своего укрытия; пулеметчик с последней машины, закутанный в шарф, в защитных очках и шерстяной кепке, казалось, на мгновение заглянул ему прямо в глаза, но машина покатила его дальше в Боланд, в ту сторону, откуда шел Михаэл. Спал он под мостом. Утром впереди показались трубы Вустера. Теперь он был не один на шоссе — рядом, в одиночку и группами, шли люди. Быстрым шагом его обогнали три молодых парня, оставляя за собой белые облачка дыхания.

На окраине города дорогу перекрыл полицейский патруль — первый после Паарла; вокруг полицейских машин толпились люди. На мгновение К. заколебался. Слева начинались дома, справа был кирпичный завод. Единственный путь к спасению — назад; он шагнул вперед.

— Что им надо? — шепотом спросил он женщину впереди него.

Она поглядела на него и, не ответив ни слова,

отвернулась.

Подошла его очередь. Он протянул свою зеленую карточку.

Впереди, там, где стояли два грузовика, он видел тех, кто уже прошел проверку, но сбоку стояла группа мужчин — одни мужчины, — которых охранял полицейский с собакой. „Если я прикинусь дурачком, — подумал он, — может, меня пропустят“.

— Откуда?

— Из Принс-Альберта. — Во рту у него пересохло. — Иду домой в Принс-Альберт.

— Разрешение.

— Я его потерял.

— Ясно. Подожди вот тут. — Полицейский показал дубинкой в сторону.

— Мне нельзя ждать, я тороплюсь, — прошептал К.

Может, они учуяли его страх? Кто-то схватил его за руку. Он уперся, как бык перед бойней. Рука из очереди позади него протянула зеленую карточку. Никто его не слушал. Полицейский с собакой нетерпеливо замахал на него, кто-то толкнул его в спину. Последние шаги К. прошел сам и вступил в неволю; его товарищи по несчастью подались в стороны, как будто боялись об

него замараться. Он прижал к груди коробку и, оглянувшись, уперся взглядом в желтые собачьи глаза.

Вместе с полусотней других задержанных К. отвели к железнодорожной станции, дали им холодную овсянку и чай и загнали в стоявший на запасных путях вагон. Двери в вагоне замкнули на засовы, и люди сидели и ждали под охраной вооруженных железнодорожных полицейских в коричневых и черных формах, покуда не прибыло еще тридцать заключенных, которых тоже загнали в вагон.

Рядом с К., у окошка, сидел старик в костюме. К. тронул его за рукав.

— Куда нас повезут? — спросил он.

Старик окинул его взглядом и пожал плечами.

— Какая разница куда, — сказал он. — Или вперед, или назад, больше некуда. Поезда по-другому не ходят. — Он вынул пакетик леденцов и предложил один К.

На запасной путь, свистя, подкатил задним ходом паровичок и, лязгая и дергаясь, сцепился с вагоном.

— Едем на север, — сказал старик. — Тоус-ривер.

К. ничего не ответил, и старик потерял к нему

интерес.

Паровик вывел вагон с запасных путей, и они поехали по окраине Вустера, где женщины развешивали белье, а дети сидели па заборе и махали им вслед, паровик понемногу набирал скорость. К. смотрел, как поднимаются и повисают, поднимаются и повисают телеграфные провода. Миля за милей тянулись голые, заброшенные виноградники, над ними кружились стаи ворон; паровозик натужно запыхтел — они въехали в горы. К. пробирала дрожь. В нос лез затхлый запах его одежды, сквозь него пробивался резкий запах пота.

Паровозик остановился; охранник отомкнул двери, и едва они вышли из вагона, стала ясна причина остановки. Дальше паровозик двигаться не мог: на дороге впереди громоздилась целая гора камней и красной глины, которые сползли по склону, прочертив в нем глубокую рытвину. Кто-то по этому поводу высказался, и раздался взрыв смеха.

Они взобрались на оползень и по другую его сторону, далеко внизу, увидели другой поезд; у открытой платформы, точно муравьи, возились люди, скатывая на землю экскаватор.

К. определили в команду, которая работала на

дороге неподалеку от завала.

Весь оставшийся день, под надзором бригадира и охранника, К. и его товарищи снимали погнутые рельсы, укрепляли полотно и укладывали шпалы. К вечеру уложили новые рельсы, по которым порожний состав мог приблизиться к языку оползня. Им позволили немного передохнуть и дали на ужин хлеба с джемом и чаю. Потом в луче паровозного прожектора люди поднялись на завал и стали его раскапывать. Сначала сбрасывали сверху глину и камни прямо на платформу, потом завал поуменьшился, и пришлось поднимать лопату и закидывать камни через борт. Когда платформу нагрузили, локомотив оттащил ее назад, и те же люди в кромешной тьме разгрузили ее.

Во время перерыва на ужин К. немного пришел в себя, потом опять сдал. Он с трудом поднимал лопату, и, когда выпрямлялся, в спину вступала такая острая боль, что все плыло перед глазами. Он все медленнее и медленнее двигал лопатой, потом сел на насыпь и уронил голову между колен. Он все сидел, не отдавая себе отчета, сколько прошло времени. Уши словно заложило ватой. Кто-то постукал его по колену.

— Вставай! — произнес чей-то голос. К. с тру-

дом поднялся на ноги и в слабом свете разглядел прораба в черном плаще и кепке.

— Почему я должен тут работать? — сказал К. Голова у него кружилась; слова долетали откуда-то издалека, как эхо.

Прораб пожал плечами.

— Делай что тебе велят, — сказал он и ткнул К. палкой в грудь. К. взял лопату.

До поздней ночи они разгребали завал, двигаясь точно лунатики. Наконец их загнали в вагон, они закрыли окна от холодного горного ветра и тут же заснули, привалясь друг к другу на скамьях или растянувшись на голом полу, а в тамбурах тряслись от холода и проклинали все на свете охранники и по очереди лезли в будку машиниста погреть руки.

Обессилевший и продрогший К. лежал, держа в руках коробку. Сосед прижался к нему и обнял его во сне. „Думает, что я его жена, — подумал К... — жена, в постели которой он спал прошлой ночью“. К. смотрел в темное окошко, и в голове билась лишь одна мысль: скорее бы прошла ночь! Потом он все-таки заснул; когда утром охранники отворили дверь, он так закоченел, что еле поднялся на ноги.

Опять им дали овсянку и чай. К. оказался рядом

со стариком.

— Ты заболел? — спросил старик. К. покачал головой.

— Ты не разговариваешь, — сказал старик. — Я думал, ты заболел.

— Нет, я не заболел.

— Чего же у тебя такой убитый вид? Это ведь не тюрьма, не пожизненное заключение. Рабочая команда, только и всего. Подумаешь!

К. не мог доесть вязкую как клей овсяную кашу. Охранники и два прораба уже ходили между людей, хлопая в ладоши и тыча в них палками.

— Ничего особенного с тобой не случилось, — сказал старик. — Ни с кем ничего не случилось.

И он обвел рукой их всех: работяг, охранников, прорабов. К. соскреб не съеденную кашу на землю, и они поднялись.

Похлопывая тростью по полю плаща, мимо прошел горбоносый прораб.

— А ну, выше нос, — улыбнувшись, сказал старик К. и легонько хлопнул его по плечу. — Скоро опять будешь сам себе хозяин.

По другую сторону завала наконец-то заработал экскаватор. К середине дня расчистили проход трехметровой ширины, теперь ремонтная бригада из Тоус-ривер могла поднимать и укладывать

рельсы. Паровозик с северной стороны начал раздувать пары. В измызганной белой форменной куртке, держа в руке пальто и коробку, К. вместе с другими такими же молчаливыми, измученными людьми вскарабкался в вагон. Никто его не остановил. Состав медленно тронулся по одноколейке на север; в тамбуре стояли два вооруженных охранника и смотрели на убегающие вдаль рельсы.

Все два часа дороги К. притворялся, что спит. Один раз мужчина, который сидел напротив, осторожно выдвинул ногой коробку и открыл — видно, искал что поесть. Увидев пепел, он закрыл коробку и задвинул обратно под ноги К. Тот наблюдал за ним из-под полуприкрытых век, но не пошевелился.

В пять вечера их высадили в Тоус-ривер. К. в нерешительности стоял на платформе. Они могут обнаружить, что он сел на другой поезд, и отправят его обратно в Вустер или упрячут в тюрьму, в этом холодном, открытом всем ветрам городишке, за то, что у него нет разрешения на въезд, а может, тут у них на линии все время оползни, и разрыв путей, и взрывы по ночам, и развороченные рельсы, и им все время нужна такая рабочая команда из пятидесяти человек,

чтобы возить ее туда-сюда неизвестно сколько лет, кормить кашей и чаем, чтобы люди не околели, и ничего им не платить. Однако охранники свели их с платформы, молча повернулись и ушли, оставив их на припорошенных угольной крошкой запасных путях; теперь им разрешалось вернуться к их прежней жизни.

Ни минуты не мешкая, К. перешел пути, нырнул в дыру в заборе и пошел по тропинке, которая вела от станции к оазису бензоколонок, придорожных закусочных и детских площадок у шоссе. Когда-то яркие раскрашенные кони-качалки и карусели облупились, бензоколонки давно не работали, но лавчонка с фирменным знаком кока-колы над входом и корзиной с пожухлыми апельсинами в витрине как будто торговала.

К. подошел к двери и уже перешагнул порог, но ему навстречу вдруг кинулась старушонка в черном. Не успел он опомниться, как она вытолкала его за порог и с лязгом заперла перед его носом дверь. Он заглянул в дверное стекло, постучал и показал десятку, но старуха даже не взглянула и скрылась за высоким прилавком. Двое его недавних спутников, которые шли за ним следом, видели, как его вытолкали из лавки. Один из них набрал в горсть гравия и со злобой

швырнул в окно лавчонки; потом они ушли.

К. остался. За стеллажом с книгами в бумажных обложках, между корзинок с конфетами он и теперь видел край черного платья. Он прикрыл глаза ладонями и стал ждать. Стояла тишина, только ветер свистел в вельде да поскрипывала вывеска над головой. Немного погодя старуха приподняла голову над прилавком и встретилась с ним взглядом. На ней были очки в массивной черной оправе, серебряные волосы гладко зачесаны назад и туго стянуты на затылке. На полках позади нее К. разглядел консервные банки, пакеты с мукой и сахаром, стиральные порошки. На полу перед прилавком стояла корзина с лимонами. Он опять поднял над головой десятку и прижал ее к стеклу. Старуха не двинулась с места.

Он отвернул водопроводный кран возле бензонасоса, но вода не шла. Тогда он напился из крана за лавочкой. На пустыре за бензоколонкой стояло десятка два-три старых машин. Он подергал дверцы одной, другой, потом нашел незапертый кузов, заднее сиденье в нем было снято, но у К. не было сил искать дальше. За горы садилось солнце, и облака засветились оранжевым светом. К. захлопнул дверцу, лег на пыльный выгнутый

пол, положил под голову коробку с прахом и сразу же заснул.

Утром лавчонка открылась. За прилавком теперь стоял высокий мужчина в костюме цвета хаки, и К. без всяких помех купил у него три банки фасоли в томате, пакет сухого молока и спички. Он зашел за бензоколонку и развел костер; покуда разогревалась банка с фасолью, он насыпал на ладонь молочного порошка и слизал его.

Поев, он пошел по автостраде, солнце было у него справа. Он шел ровным шагом весь день. Спрятаться здесь было негде — вокруг раскинулась поросшая редким кустарником каменистая равнина, колонны машин проезжали и в ту и в другую сторону, но он не обращал на них внимания. Когда стемнело, он свернул с дороги, перелез через изгородь и расположился на ночлег в высохшем русле реки. Развел костер и съел вторую банку фасоли. Придвинувшись поближе к тлеющим угольками, он заснул; в ветвях деревьев возились птицы, по камням пробегали чьи-то лапки, но он ничего не слышал.

Попав в вельд, он понял, что идти тут спокойнее. Он шел весь день. Под вечер ему повезло — он сбил камнем дикого голубя, когда тот в сумерках усаживался на ветку в терновнике.

Он свернул ему шею, ощипал, зажарил, насадив на кусок проволоки, и съел вместе с последней банкой фасоли.

Утром его грубо разбудил старик крестьянин в рваном военном кителе. Непонятно, почему он так злобно орал на него.

— Да я только спал тут, я же ничего не сделал, — защищался К.

— Не нарывайся на беду! — кричал старик. — Найдут тебя в вельде — убьют! Сам на рожон лезешь! Уходи!

К. спросил, куда ведет шоссе, но старик замахал на него руками и начал забрасывать землей остатки костра. К. ушел и около часа шагал по шоссе, но вокруг все было спокойно, и он опять перелез через изгородь.

В кормушке у запруды он нашел остатки еды и наскреб полжестянки маиса и костяной муки, развел их в воде, сварил и съел скрипевшее на зубах месиво. Потом собрал в берет все, что еще оставалось у запруды. „Наконец-то меня кормит земля“, — подумал он.

Тишина была такая, что он слышал, как хлопают одна о другую штанины. И пустота — от горизонта до горизонта. Он поднялся на холм и лег на спину, вслушиваясь в тишину, чувствуя,

как солнечное тепло проникает в его кости.

Из кустов выбежали какие-то странные существа — маленькие собачки с огромными ушами, и тут же умчались прочь.

Я могу жить здесь всегда, думал он, до самой смерти. Никаких событий не будет происходить, каждый новый день будет таким же, как вчера, не о чем даже будет рассказывать. Беспокойство, которое владело им на шоссе, постепенно утихло. Иногда он шагал и думал: сплю я или бодрствую? — и не мог ответить на этот вопрос. Теперь он понял, почему люди бегут от шума городов и загораживаются милями тишины; он понял, что им, наверное, хочется навсегда завещать эту тишину своим детям (хотя не был уверен, есть ли у них на это право); а может, тут остались какие-то забытые уголки или полоски меж оградами, думал он, которые еще никому не принадлежат. И, если высоко взлететь, их можно увидеть.

В небе, с юга на север, пролетели два самолета, оставляя за собой волны шума и белые хвосты, которые медленно блекли в небе.

В закатных лучах солнца он поднялся на последние холмы, подступавшие к Лайнсбургу; когда он перешел мост и ступил на широкую

главную улицу, небо стало темно-фиолетовым. Он шел мимо заправочных станций, магазинов, закусочных — все было закрыто. Затявкала собачонка и уже не могла остановиться. Другие собаки тоже подняли лай. Уличные фонари не горели.

Он стоял перед полутемной витриной, где была выставлена детская одежда, и тут прохожий, миновавший его, остановился и вернулся назад.

— Сейчас зазвонит колокол — начнется комендантский час, — раздался голос у него за спиной. — Лучше вам уйти отсюда.

К. обернулся.

Мужчина, стоявший перед ним, был моложе его, в зеленой с золотыми позументами форменной куртке, в руках деревянный чемоданчик с инструментами.

Что увидел перед собой незнакомец, он не знал.

— Вам плохо? — спросил молодой человек.

— Я не хочу делать остановку, — сказал К. — Я иду в Принс-Альберт, путь далекий.

Но он все же пошел с незнакомцем к нему домой и, поужинав супом с хлебом, проспал ночь под его крышей. В семье было трое детей. Пока К. ел, младшенькая девочка сидела у матери на ко-

ленях и не сводила с него глаз, хотя мать время от времени что-то шептала ей на ухо. Двое постарше уткнулись в тарелки. К. долго не мог решиться, потом наконец заговорил о своем путешествии.

— Недавно я встретил старика. — начал он. — так он мне сказал, тут убивают людей. Увидят кого на своей земле и стреляют.

Его друг покачал головой.

— Никогда о таком не слышал, — сказал он. — Люди должны помогать друг другу, я так считаю.

Эти слова запали ему в голову. „А я в это верю — что люди должны помогать друг другу?“ — размышлял он. Сам он может помочь, а может и не помочь, заранее сказать трудно, и так и сяк может случиться. Похоже, у него нет никаких убеждений, во всяком случае, насчет помощи людям. „Может, я каменный“, — подумал он.

Когда выключили свет, К. долго лежал, слушая возню ребятишек; он занял их кровать, и они улеглись на матраце на полу. Один раз он проснулся — ему показалось, что он говорил во сне; но, судя по всему, никто ничего не слышал. Когда он проснулся в следующий раз, уже горел свет — родители собирали детей в школу и шикали на них, чтоб не разбудили гостя. Застеснявшись, он натянул брюки под одеялом и

вышел за дверь. На небе еще светились звезды; на востоке небо заалело.

Мальчик позвал его завтракать. За столом ему снова неудержимо захотелось что-то сказать. Он стиснул пальцами край стола и напряженно выпрямился. Сердце его было переполнено благодарностью, и ему хотелось высказать ее, но нужные слова никак не шли. Дети смотрели на него во все глаза; все молчали, родители отвели глаза.

Двум старшим детям поручили проводить его до поворота на Сьюикспорт. Там, прежде чем проститься, мальчик заговорил.

— А здесь пепел? — спросил он. К. кивнул.

— Хочешь поглядеть? — предложил он.

Он открыл коробку, отстегнул пластиковый пакет. Первым понюхал пепел мальчик, за ним его сестричка.

— Что ты с ним будешь делать? — спросил мальчик.

— Я несу его в те места, где когда-то давно-давно родилась моя мать, — сказал К. — Так она хотела.

— Ее сожгли? — спросил мальчик. Перед глазами К. запылал огненный нимб.

— Она ничего не почувствовала. — сказал он, — она к тому времени уже обратилась в дух.

Расстояние от Лайнсбурга до Принс-Альберта он покрыл за три дня, шагая на небольшом расстоянии от проселочной дороги и далеко обходя фермы; он надеялся, что вельд подкормит его, однако большую часть пути прошел голодным. Однажды днем, когда воздух прогрелся, он стащил с себя одежду и по горло погрузился в повстречавшийся ему в пустынном месте водоем. Однажды его окликнул фермер, проезжавший мимо на грузовике. Фермер поинтересовался, куда он держит путь.

— В Принс-Альберт, — ответил он. — Иду повидать родню.

Но говорил он не по-здешнему, и было ясно, что фермер что-то заподозрил.

— Лезь в машину, — сказал он. К. покачал головой.

— Влезай, подкину, — повторил приглашение фермер.

— Я не устал, — сказал К. и пошел дальше.

Грузовик скрылся в облаке пыли, а К., не мешкая, сошел с дороги, спустился в сухое русло реки и прятался там до самой темноты.

Потом, когда он думал об этом фермере, ему вспоминались лишь фетровая шляпа, толстые, точно обрубки, пальцы, подманивающие его.

И на суставах — рыжая щетина. Память всегда высвечивала какие-то отдельные куски, не всю картину целиком.

На четвертый день, утром, он присел на корточки на вершине холма, глядя, как всходит солнце над городом, — по его расчетам это и должен был быть Принс-Альберт. Горланили петухи; поблескивали в лучах солнца окна домов; по главной улице мальчишка гнал двух ослов. Воздух был неподвижен. Спускаясь с холма к городу, Михаэл обратил внимание на доносящийся откуда-то мужской голос: он лился ему навстречу бесконечным монотонным речитативом. Михаэл в недоумении остановился и стал прислушиваться. Может, это голос принца Альберта? — мелькнула в голове мысль. А я-то думал, принц Альберт умер. Он старался разобрать слова, но при том, что голос наполнил воздух словно туман или запах, слова, если они были, если голос не просто выводил какую-то мелодию, — слова были не слышны или так невнятны, что разобрать их было невозможно. Потом голос оборвался, и вместо него заиграл далекий духовой оркестр.

К. ступил на дорогу, которая подходила к городу с юга. Миновал мельницу, огороженные сады. Две темно-каштановые охотничьи собаки кину-

лись на него и с лаем понеслись вдоль изгороди. Несколькими домами дальше молодая женщина мыла у колонки миску. Она оглянулась на него через плечо; он коснулся берета; она отвела взгляд в сторону.

Теперь по обе стороны улицы тянулись магазины и другие заведения: булочная, кафе, магазин одежды, банк, слесарная мастерская, хозяйственная лавка, гаражи. Стальная решетка перед лавкой была заперта. К. сел на крыльцо, прислонясь спиной к решетке, подставил лицо солнцу и закрыл глаза. „Я пришел, — думал он. — Наконец-то“.

Спустя час К. все еще сидел на крыльце, с приоткрытым ртом — он спал. Вокруг него, хихикая и пересмеиваясь, собрались дети. Какой-то мальчишка осторожно снял берет с его головы, нахлобучил на себя и скривил рот, изображая К. Его дружки прыснули со смеха. Мальчишка с маху накинул берет на голову К. — косо, на одно ухо, и попытался вытянуть у него из рук коробку, но Михаэл крепко ее держал.

Пришел хозяин лавки с ключами; дети отступили в сторону, лавочник стал отводить решетку, и К. проснулся.

Внутри, в полумраке, стояли, висели, лежали

всевозможные товары. Оцинкованные железные ванны загораживали проход, с потолка свисали велосипедные колеса, под ними стояли вентиляторы и отопительные батареи; были тут и ящики с гвоздями, и пирамиды пластмассовых ведер; на полках различные консервы, патентованные лекарства, конфеты, детская одежда, прохладительные напитки. К. подошел к прилавку.

— Мне нужен мистер Вослоо или мистер Виссер, — сказал он. То были имена, которые помнила его мать. — Я ищу мистера Вослоо или мистера Виссера. Этот мистер — фермер.

— Может, ты про миссис Вослоо говоришь? Про ту, что работала в отеле? А мистер Вослоо тут не проживает.

— Мистер Вослоо или мистер Виссер, когда-то давно этот мистер был фермером, вот его я ищу. Точного имени я не знаю, но если я найду ферму, я ее узнаю.

— Таких фермеров тут нет, ни Вослоо, ни Виссера. Может быть, Висаги? Зачем он тебе понадобился?

— Мне нужно кое-что доставить на его ферму. — Он показал коробку.

— Тогда ты зря проделал такой долгий путь. На ферме Висаги никого нет, она уже много лет

пустует. А ты уверен, что ищешь именно Висаги? Они ведь давно отсюда уехали…

К. купил пачку имбирного печенья.

— Кто тебя сюда послал? — спросил лавочник. К. сделал вид, что не понял вопроса. — Надо бы им послать кого-нибудь попонятливее, чтобы знал, кого ищет. Передай им это, когда вернешься.

К. пробормотал что-то невнятное и вышел. Он шел по улице и думал, где бы ему еще попробовать спросить, когда его нагнал один из мальчишек.

— Мистер, я вам покажу, где ферма Висаги! — крикнул он. К. остановился. — Только там никого нет. Пусто.

Мальчишка объяснил, как идти: сначала на север, по дороге на Крейдфонтейн, потом на восток, по проселочной дороге в долине реки Морденаарс.

— Далеко это от шоссе? — спросил К. — Долго идти или нет?

Ни мальчишка, ни его дружки точно не знали.

— Свернете там, где знак, — там палец нарисован, — сказал мальчишка. — Висаги под горой, там горы начинаются; если пешком, далеко идти.

К. дал им мелочь на конфеты.

В середине дня он дошел до указующего пальца и свернул на проселок, который повел его по пустынным унылым равнинам; солнце клонилось к закату, когда, поднявшись на пригорок, он увидел вдали низкий белый дом; дальше равнина переходила в волнистое предгорье, а за ним поднимались крутые уступы темных гор. Он приблизился к дому и обошел его вокруг. Ставни были закрыты: сизый голубь юркнул в щель под крышу — там, где разломался щипец; железные листы крыши загнулись. Один наполовину сполз с крыши и уныло хлопал на ветру. За домом был огород, в котором ничего не росло. Он представлял себе, что увидит здесь старый хлев, а вместо него стоял деревянный, крытый железом сарай, к которому примыкал пустой загон для кур; концы продетых сквозь сетку желтых пластиковых полос трепались на ветру. На взгорке за домом виднелся насос. Вдали, в вельде, блестело на солнце колесо второго насоса.

Двери в доме были заперты — и передняя, и задняя. Он подергал ставень и сорвал его с внутреннего крючка. Потом приставил ладони козырьком к глазам и приник к стеклу, но разглядеть ничего не смог.

Вошел в сарай. Пара испуганных ласточек

метнулась в дверь и умчалась прочь. Борона покрылась толстым слоем пыли, паутиной. Почти ничего не видя в темноте, вдыхая запах керосина и дегтя, он начал копаться среди мотыг и лопат, обрезков труб и шлангов, витков проволоки, коробок с пустыми бутылками, пока не нашел груду пустых мешков, которые он вытащил во двор, вытряс и соорудил из них постель на веранде.

Он съел остаток печенья, которое купил в Принс-Альберте. Половина денег у него сохранилась, но теперь они были бесполезны. Свет угасал. Под застрехой сновали летучие мыши. Он лежал на своей постели и слушал ночные звуки; воздух, казалось, стал плотнее, чем днем. „Ну вот я и пришел домой, — думал он. — Или хотя бы куда-то“. Он заснул.

Первое, что он обнаружил утром, — на ферме есть козы. Стадо примерно из пятнадцати коз появилось из-за дома и, ведомое старым козлом с витыми рогами, легкой иноходью потянулось наискосок по двору. К. встал во весь рост на своей постели — козы испуганно порскнули на дорогу и, стуча копытами, помчались к руслу реки. В одно мгновение они скрылись из виду. Он сел на мешки и начал лениво затягивать шнурки на ботинках, и тут вдруг до него дошло, что, ес-

ли он надеется выжить, ему придется ловить этих фырчащих косматых животных, убивать их, разрезать на куски и есть. Зажав в руке свое единственное оружие — перочинный нож, он устремился вслед за ними. Весь день он охотился за козами. Поначалу они уносились прочь, потом начали привыкать к человеку, который то бежал, то шел за ними вслед; солнце припекало все жарче, и они нет-нет да останавливались, сбившись в кучу, и позволяли ему приблизиться на расстояние нескольких шагов, но тут вдруг опять взбрыкивали и уносились. В такие минуты, подобравшись к ним совсем близко, К. чувствовал, как его начинает бить дрожь. Он не узнавал себя: так одичал, что крадется с ножом в руке, и в то же время не мог избавиться от страха: а что, если лезвие подастся назад и поранит ему руку, когда он всадит нож в пятнистую, коричневую с белым, шею козла. Но тут козы трусили рысцой дальше, и, чтобы не впасть в уныние, он говорил себе: они, наверно, сейчас про многое думают, а я только об одном, и в конце концов эта моя одна мысль одолеет все их мысли. Он все пытался подогнать стадо к ограде, но каждый раз козы ускользали перед самым его носом.

Он заметил, что они ведут его по широкому кру-

гу, огибая насос и водоем, на которые он смотрел с крыльца дома вчера вечером. Подойдя поближе, он увидел, что забетонированный квадратный водоем переполнен, вокруг него поблескивали мутные лужи и буйно росла болотная трава; лягушки при его приближении с плеском шлепались в воду. Только напившись, он сообразил, что все это очень странно, и спросил себя, как же насос работает и кто следит, чтобы водоем был полон? Во второй половине дня он ответил себе на этот вопрос: он по-прежнему не отступал от цели, а козы трусили впереди, перебегая из одного пятна тени в другое, но вот дунул ветер, колесо скрипнуло и начало вращаться, в трубе что-то звякнуло, и из нее потекла прерывистая струйка воды.

Оголодавший, измученный, он не сдавался, слишком он втянулся в эту охоту; опасаясь, что ночью упустит стадо, он притащил от сарая мешки и устроил себе ложе прямо на земле, поближе к козам, и забылся тревожным сном. Светила полная луна. В середине ночи его разбудили всплески и фырканье: козы пили. Он поднялся, чувствуя, что нисколько не отдохнул, и, спотыкаясь, двинулся к ним. Стоя по колено в воде, они сбились в кучу и повернули к нему морды и тут

же, когда он кинулся на них, в страхе бросились врассыпную. Прямо перед ним одно животное поскользнулось, осело назад и, точно рыбина, забилось в грязи, пытаясь подняться на ноги. К. всем телом навалился на него. Как это ни будет тяжело, мелькнуло у него в голове, надо жать на него что есть силы, до самого конца. Козий зад ходил под ним ходуном; животное в ужасе блеяло, туловище его дергалось в судорогах. К. оседлал его, сдавил ему руками горло и изо всех сил стал пригибать вниз козью башку, затолкав ее сначала под воду, а затем и в толстый слой донного ила. Козий зад рывками вздымался вверх, он зажал его коленями, как тисками. Коза начала слабеть и уже почти не брыкалась, и он чуть было не ослабил хватку, но все же поборол это желание. Он все вдавливал голову козы в ил, хотя давно уже стих ее предсмертный хрип и по хребту прошла последняя судорога. И только когда руки и ноги начали неметь в холодной воде, К. поднялся и выпустил козу из рук.

Остаток ночи, покуда луна обходила небосклон, он, стуча зубами, топтался у водоема. Когда рассвело и можно было разглядеть, куда ступать, он пошел к дому и без всяких раздумий высадил локтем стекло. Отзвенел последний осколок, и

опять сомкнулась тишина, такая же бездонная, как и прежде. Он поднял шпингалет и растворил раму. Обошел весь дом. Если не считать громоздкой мебели — буфетов, кроватей, гардеробов, — комнаты были пусты. На пыльном полу отпечатывались его следы. В кухне забились в панике птицы и устремились к дыре под крышей. Пол, столы — все было заляпано птичьим пометом; у стены, против двери, в том месте, где разрушился щипец, высилась горка кирпичного крошева; на нем уже успело вырасти какое-то хилое растеньице.

К кухне примыкала небольшая кладовка. К. раскрыл в ней окно и ставни. Вдоль одной стены стояли в ряд деревянные бочонки, все пустые, кроме одного, в котором было непонятно что, скорее всего песок вперемешку с мышиным пометом. На полке в пыли и паутине стояли остатки кухонной утвари: пластмассовые миски и чашки, стеклянные банки. На другой полке — несколько бутылок с остатками масла и уксуса, банки с сахарной пудрой и сухим молоком, три банки варенья. К. открыл одну, отковырял восковую заливку и с жадностью съел, как ему показалось, абрикосы. Его тут же замутило: в сладость и аромат плодов проник тяжелый дух, исходивший

от его одежды. Он вынес банку наружу и остатки доел уже не столь поспешно.

Потом вернулся к водоему. Воздух прогрелся, но К. по-прежнему дрожал.

Грязно-коричневый козий бок бугром выпирал из воды. Он вошел в водоем, ухватил козу за задние ноги и с трудом выволок на землю. Зубы у нее были оскалены, желтые глаза вылезли из орбит; изо рта текла струйка воды. Нестерпимый голод, который одолевал его вчера, стих. Неужели он сейчас расчленит и начнет пожирать это мерзкое чудовище с мокрой свалявшейся шерстью? Одна мысль об этом вызывала у него омерзение. Остальные козы, навострив уши, стояли неподалеку на пригорке. Ему не верилось, что вчера он целый день гонялся за ними с ножом, точно сумасшедший. Перед глазами, как наяву, возникло вдруг видение: все вокруг залито лунным светом, и он, верхом на козе, втискивает ее в грязь. К. содрогнулся. Похоронить бы ее где-нибудь и забыть об этом кошмаре; а еще лучше — поддать ей под зад, чтобы она вскочила на ноги и умчалась прочь. Он бесконечно долго волочил ее к дому. Отомкнуть двери оказалось невозможно, и он поднял тушу и протиснул в кухонное окно. Потом до него дошло, что глупо разделывать ее

в доме, даже в кухне, где летают птицы и растет трава. Тогда он выволок козу обратно. Его вдруг охватило странное чувство: будто что-то ушло от него — та сила, что вела его все эти сотни миль; он спрятал лицо в ладони и стал медленно ходить взад-вперед; ему стало немного лучше.

Никогда прежде ему не приходилось свежевать тушу. Кроме перочинного ножа, у него ничего не было. Он сделал продольный разрез на брюхе и запустил в него руку; он ожидал, что внутренности в козьем брюхе будут теплые, но там был тот же холод липкой болотной тины. Рванув, он вывалил внутренности к своим ногам — сизо-багровый ворох; после этого пришлось оттащить тушу подальше, только тогда он снова взялся за нож. С трудом содрав шкуру, он понял, что голову и ноги ножом ему не отрезать, тогда он отыскал в сарае лучковую пилу. Освежеванная туша, которую он подвесил к потолку в кладовке, показалась ему совсем маленькой, куда меньше целой груды того, что он вынул, содрал и отрезал, а потом положил в мешок и захоронил в верхнем ярусе огорода. На руках и на рукавах у него запеклась кровь, а воды поблизости не было; он стал оттирать их песком, и все же мухи не отставали от него даже дома.

Он почистил плиту и развел огонь. Не было ни кастрюли, ни сковородки. Он отрезал заднюю ногу и держал ее над огнем, покуда она не запеклась со всех сторон и не начал капать сок. Ел он без всякого удовольствия и только думал: „Что же я буду делать, когда доем козу?“

Конечно, он простудился. Он весь горел, голова болела, глотал он с трудом. Взяв стеклянные банки, он пошел за водой. На обратном пути он вдруг совсем обессилел, и ему пришлось сесть на землю. Он сидел, свесив голову меж колен, и ему казалось, что он лежит в чистой постели, в хрустящих белых простынях. Он закашлялся, и у него вырвался какой-то странный звук, точно ухнула сова; звук отлетел, не отдавшись эхом. Хоть и саднило горло, он повторил этот звук. После Принс-Альберта он впервые слышал свой голос. Он подумал: „Теперь я могу даже кричать, теперь все можно“.

К вечеру его начало лихорадить. Он втащил свою постель из мешков в гостиную и провел ночь там. Ему приснился сон, что он лежит в кромешной тьме в приютском дортуаре. Протянув руку, он коснулся железной спинки кровати; от матраца пахло застарелой мочой. Он боялся пошевелиться, — а то проснутся мальчишки,

спящие вокруг, — и лежал с открытыми глазами, чтобы опять не провалиться в омут сна. Сейчас четыре утра, в шесть рассветет. Как он ни вглядывался, он не мог различить, где окно. Веки отяжелели. „Я куда-то лечу“, — подумал он.

Утром он почувствовал себя лучше. Он обулся и обошел дом. На платяном шкафу стоял чемодан, но в нем были только сломанные игрушки и разрозненные карточки складных картинок. Ничего полезного он нигде не нашел и не нашел ничего, что дало бы ему ключ к разгадке, почему Висаги, которые жили здесь когда-то, покинули ферму.

В кухне и кладовке жужжали мухи. Есть ему не хотелось, но он разжег огонь и сварил немного мяса в жестянке из-под джема. В кладовке, в одной из банок, он нашел немного чая, заварил чай и снова лег на мешки. Его начал мучить кашель.

Коробка с пеплом ждала своего часа в уголке гостиной. Он надеялся, что его мать, которая вроде бы была в этой коробке и в то же время не была, поскольку душа ее освободилась и рассеялась в воздухе, здесь, на родной земле, обрела наконец покой.

Было даже приятно отдаться болезни. Он раскрыл окна и лежал, слушая воркующих голубей, а может быть, тишину. Дремал, просыпался. Когда

в окно ярко засветило послеполуденное солнце, он закрыл ставни.

Вечером снова начался бред. Он хотел пересечь окаменевшую равнину, но она кренилась под его ногами, грозила сбросить за край. Он лег плашмя, вцепился пальцами в землю и полетел куда-то сквозь тьму.

Через два дня приступы лихорадки кончились; еще через день он начал выздоравливать. Коза в кладовке завоняла. Урок из этого — если только можно счесть за уроки все, что случается, — пожалуй, был прост: не надо убивать таких больших животных. Он обстругал сучок и с помощью язычка от старого ботинка и резиновой трубки сделал рогатку — теперь он мог сбивать с деревьев птиц. Остатки козьей туши он зарыл в землю.

Он обследовал однокомнатные домишки на склоне холма позади фермы. Они были кирпичные, с цементным полом и железной крышей. Вряд ли они простояли здесь полвека. Но в нескольких ярдах от них выступал из земли замшелый прямоугольник фундамента. Может, здесь, посреди сада, и родилась его мать? Он принес из дома коробку с пеплом, поставил ее в центре прямоугольника и стал ждать. Что должно было произойти, он не знал, но не произошло

ничего. Прополз по земле жук. Подул ветер. В лучах солнца на иссохшей земле стояла картонная коробка, и все. Наверно, надо что-то еще сделать, только он не представлял себе что.

Он прошел вдоль всей изгороди вокруг фермы — никаких признаков, что кто-то из соседей живет поблизости. В накрытой листом железа кормушке лежал заплесневевший корм для овец; он захватил горсть и опустил в карман. Потом пошел к насосу и возился с ним, покуда не разобрался, почему течет вода. Он соединил разорванную цепь и остановил вращение колеса.

Он продолжал спать в доме, но ему было там неприятно. В воздухе витало что-то неуловимое. Он пел, бродя по пустым комнатам, и слушал эхо, отдававшееся от стен и потолка. Потом перетащил свою постель на кухню — через дыру в потолке можно было хотя бы смотреть на звезды.

Дни он проводил у водоема. Как-то утром он снял с себя всю одежду и, стоя по грудь в воде, долго тер ее и шмякал о бетонную стенку: остаток дня, покуда одежда сохла, он продремал в тени под деревом.

Пришло время вернуть мать земле. Он хотел выкопать яму на гребне холма к западу от во-

доема, но едва он копнул, лопата стукнулась о камень. Тогда он перешел к водоему, спустился на край участка, который когда-то возделывался, и выкопал ямку по локоть глубиной. Он уложил туда пакет с пеплом и ссыпал на него первую лопату земли. Но что-то остановило его. Он закрыл глаза и сосредоточился, надеясь, что сейчас услышит голос, который скажет, что он делает все правильно, — голос матери, если у нее еще есть голос, или какой-то голос, неизвестно чей, или даже свой собственный голос, случалось, он подсказывал ему, как поступить. Но голоса он не услышал. Тогда он взял решение на себя: вынул пакет из ямки и начал вскапывать большой квадрат в середине поля. Там, низко склонясь к земле, чтобы ветер не снес пепел, он рассыпал тонкие серые хлопья и, лопата за лопатой, стал забрасывать их землей.

Для него это стало началом другой жизни — жизни земледельца. На полке в сарае он еще в первые дни нашел пакетик с семенами тыквы, поджарил сколько-то на плите и съел; у него также сохранилось немного зерен маиса; на полу в кладовке он подобрал одну-единственную фасолину. За неделю он вскопал участок у водоема и восстановил систему оросительных канав. На

одной небольшой полосе он посадил тыкву, на другой — маис; а поодаль, на берегу высохшей речки, хотя воду туда надо было носить, посадил фасолину, чтобы она, если прорастет, смогла виться по прибрежному кустарнику.

Питался он в основном птицами, которых убивал из рогатки. Он охотился за птицами неподалеку от дома и работал на земле — так проходили дни. А потом наступали счастливые минуты — на закате он поднимал заслонку в стене водоема и с глубочайшим удовольствием смотрел, как бежит по канавам вода и желтоватая почва становится темно-коричневой. „Я радуюсь, потому что я садовник, — думал он, — потому что так уж я устроен“. Он отточил лопату о камень, чтобы приятнее было смотреть, как она вонзается в землю. В нем пробудился земледелец, прошло две-три недели, и он почувствовал, что жизнь его накрепко связана с клочком земли, который он начал возделывать, с семенами, которые он там посадил.

Иногда, особенно по утрам, его вдруг охватывал восторг при мысли, что он, одинокий, никому не ведомый человек, преображает эту заброшенную ферму. Но душевный подъем часто сменялся болью, которая приходила вместе с мыслью о

будущем, и тогда только работа спасала его от мрака и уныния.

Скоро он чуть не досуха выкачал скважину — из крана сочилась лишь слабая прерывистая струйка. Теперь все помыслы и желания сосредоточивались для К. в одном — восстановить запас воды в земле. Он брал воды ровно столько, сколько необходимо было огороду; он позволил уровню воды в водоеме упасть до нескольких дюймов и равнодушно наблюдал, как сохнет вокруг топь, трескается земля, вянет трава и лягушки шлепаются навзничь и подыхают. Он не знал, как пополняются почвенные воды, но знал, что быть расточительным плохо. Что там у него под ногами: озеро, или быстрый поток, или огромное внутреннее море, или бездонная заводь — об этом он мог лишь гадать. Каждый раз, как он отвязывал цепь и начинало вертеться колесо и течь вода, — это было чудом; он наклонялся над стенкой водоема и, подставив пальцы под струю, закрывал глаза.

Он жил от восхода солнца до заката, другого времени не было. Кейптаун, война, его путь к ферме все глубже и глубже погружались в забвение.

Но однажды он подошел в полдень к дому и увидел, что парадная дверь широко распахнута;

он остановился как вкопанный, и в эту минуту из дома на освещенное солнцем крыльцо вышел бледный плотноватый парень в хаки.

— Ты здесь работаешь? — были его первые слова.

Парень стоял на верхней ступеньке крыльца с таким видом, будто он здесь хозяин. К. ничего не оставалось как кивнуть.

— Никогда тебя тут раньше не видел, — сказал незнакомец. — Приглядываешь за фермой? К. кивнул.

— Когда же это провалился потолок в кухне? — спросил парень.

К. хотел ответить и не мог выговорить ни слова. Парень не отводил взгляда от его изуродованной губы. Потом заговорил снова.

— Небось не знаешь, кто я такой? — спросил он. — Я внук хозяина, внук Висаги.

К. перенес свои мешки в один из домишек на холме, предоставив дом молодому Висаги. Он чувствовал, как им овладевает прежняя тупая безнадежность, и старался ее отогнать. Может, этот внук пробудет тут день или два и уйдет, думал он; увидит, что ничего хорошего тут нет, и уйдет; может, это он уйдет, а я останусь.

Но внук, как оказалось, не мог уйти. В тот же ве-

чер, не успел К. развести на склоне холма костер и поставить варить к ужину пару диких голубей, из сумерек возникла плотная фигура внука, и он так долго топтался у костра, что К. пришлось пригласить его поужинать. Внук ел с жадностью голодного мальчишки. На двоих еды было мало. И тут все открылось.

— Когда пойдешь в Принс-Альберт, — начал внук. — не рассказывай никому, что я здесь.

Он дезертировал из армии вчера вечером, удрал из воинского эшелона в Крейдфонтейне и всю ночь шел через вельд. Дошел-таки до фермы, он помнит ее со школьных лет.

— На рождество сюда съезжалось все наше семейство, — рассказывал он. — Ехали и ехали — конца-краю не было, как только дом всех вмещал. А как мы тут пировали — с тех пор я такой еды и не видывал. Стол прямо ломился от всякой всячины, и все вкусное, деревенское, подъедали все дочиста. Жареный ягненок — пальчики оближешь.

К. сидел на корточках, ворошил костер и слушал вполуха. „Я поддался соблазну и поверил, что этот островок без хозяина. Теперь я узнал правду. Вот мне еще один урок“, — думал он.

А внук совсем разоткровенничался. У него

малокровие и сердце слабое, говорил он, это засвидетельствовано, и все же его отправили на фронт. Они снимают с работы служащих и отправляют на фронт. Как же они обойдутся без служащих? Может, они решили, что в войну не надо платить деньги и не нужны кассиры? Если они сюда заявятся, военная полиция или гражданская, чтоб забрать его и устроить показательный суд, пусть К. притворится немым. Притворится дурачком, лишь бы они ничего не выведали. А он тем временем оборудует себе убежище. Ферму он знает и отыщет такое местечко, куда им и в голову не придет заглянуть. К. лучше об этом месте не знать. Где пила? Пусть К. найдет пилу. Ему очень нужна пила, завтра утром он начнет работать. К. сказал, что поищет. Внук помолчал, потом спросил:

— Ты только это и ешь? К. кивнул.

— Надо посадить овощи, — сказал внук. — Картошку, лук, маис — если поливать, растет тут все хорошо. Земля плодородная. Удивляюсь, как ты не вырастил хоть что-то для себя у водоема.

Сердце у К. болезненно сжалось: даже и о водоеме ему все известно!

— Повезло моим старикам, — продолжал внук. — Теперь работников днем с огнем не сы-

щешь. Как тебя звать?

— Михаэл, — ответил К.

Совсем стемнело. Внук в нерешительности поднялся.

— У тебя фонарика нет? — спросил он.

— Нет, — ответил К. и долго смотрел вслед внуку, пока тот осторожно спускался по освещенному луной склону.

Настало утро, но заняться К. теперь было нечем. К водоему не пойдешь — выдашь свой огородик. Он сидел на корточках у стены дома, чувствуя, как солнышко прогревает его тело, как течет мимо время, но вот на косогоре опять появился внук. „Он лет на десять моложе меня“, — подумал К. От подъема на взгорок внук разрумянился.

— Михаэл, а есть-то нечего, — пожаловался внук. — Ты в магазины ходишь?

Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь и заглянул в комнату. Он, похоже, хотел что-то сказать, но осекся.

— Сколько же тебе платят, Михаэл? — спросил он.

„Он думает, что я дурачок, — понял К. — Думает, что я идиот, что я сплю, как зверь, на полу, питаюсь птицами и ящерицами и не знаю, что есть такая штука — деньги. Смотрит на значок на

моем берете и спрашивает себя: Санта-Клаус, что ли, ему это подарил?“

— Два ранда, — сказал К. — Два ранда в неделю.

— А от них есть какие-нибудь вести? Сюда они не приезжают? К. молчал.

— Ты сюда откуда приехал? Ты ведь не местный, нет?

— Я много где побывал, — сказал К. — И в Кейптауне тоже.

— А овцы на ферме есть? — спросил внук. — Козы есть? Вчера за водоемом я видел целое стадо, десять или двенадцать коз. Мне не померещилось? — Он взглянул на часы. — Пойдем-ка отыщем коз. К. представилась козья туша в жидкой грязи.

— Они одичали, — сказал он. — Их не поймать.

— Мы их поймаем у водоема. Вдвоем справимся.

— Они туда приходят ночью, — сказал К. — Днем они в вельде. — Про себя он подумал: „Солдат без оружия. Любитель приключений. Он и на ферме ищет приключений“. А вслух сказал: — Бог с ними, с козами, я вам добуду еды.

К. взял рогатку, спустился к реке и за час убил три воробья и голубя. Он принес птиц к двери и

постучал. Из дома доносился звук пилы. К нему вышел внук — голый по пояс, потный.

— Отлично, — сказал он. — Очисть-ка их побыстрее! Я тебя отблагодарю.

Сжав в кулаке лапки, К. держал четырех птиц. На клюве одного воробушка запеклась бусинка крови.

— Они маленькие, проглотите и не почувствуете, — сказал он. — Запачкаться боитесь, пальчики замарать?

— Чего ты городишь? — ощетинился внук Висаги. — Какого черта? Хочешь что-то сказать, так говори. Положи их, я сам все сделаю!

К. положил четырех птичек на веранде и ушел.

Первые мясистые ростки тыкв пробивались сквозь землю, один здесь, другой там. К. в последний раз поднял заслонку и стал смотреть, как вода неспешно обтекает огород, как темнеет земля. Сейчас я нужен своим первенцам больше всего, а я покидаю их. Он опустил заслонку и стал отгибать кран в сторону корыта, из которого пили козы.

Он принес четыре кувшина воды и поставил их на ступеньки крыльца.

Внук, уже в рубашке, стоял, засунув руки в кар-

маны, и смотрел вдаль. Он долго молчал, потом заговорил.

— Не я тебе плачу, Михаэл, — сказал он, — я не могу тебя прогнать с фермы. Но нам надо держаться вместе, вместе работать, иначе… — Он перевел взгляд на Михаэла.

Что бы ни было в этих словах: обвинение, угроза, упрек, но они смягчили К. Это у него просто такая манера, сказал он себе, не нервничай. И все же почувствовал, как на него, точно туман, наползает отупение. Опять он не знал, что ему делать со своим лицом. Он тер рот и, глядя на коричневые ботинки внука, думал: теперь уж ты не купишь в лавке таких ботинок! Он сосредоточился на этой мысли, стараясь успокоиться.

— Мне нужно, чтобы ты сходил в Принс-Альберт, Михаэл, — сказал внук. — Я дам тебе список что купить и деньги. И для тебя самого сколько-то дам. Только ни с кем не разговаривай. Не говори, что видел меня, не говори, что покупаешь для меня. Вообще не говори, для кого покупаешь. Не покупай все в одной лавке. Возьми половину у Ван Рейна, а половину в кафе. Не останавливайся и ни с кем не разговаривай — сделай вид, что очень спешишь. Понял?

„Только бы мне не сорваться“, — думал К. Он

кивнул. Внук продолжал:

— Я тебе начистоту все выкладываю, Михаэл. Идет война, люди гибнут. А я ни с кем не хочу воевать. Я выбрал для себя мир. Ты понимаешь? Я хочу мира со всеми. Тут, на ферме, нет войны. Мы с тобой можем тут тихо жить, пока всюду не настанет мир. Никто нас тут не потревожит. Еще немного — и войне конец. Я был казначеем, Михаэл, я знаю, что творится. Знаю, сколько людей убегают каждый месяц: местонахождение неизвестно, выплата жалованья прекращается, открывается судебное дело. Понимаешь, о чем я говорю? Могу назвать тебе цифры — ты поразишься! Не один я сбежал. Скоро им не хватит людей, чтобы разыскивать беглецов, поверь мне! Страна-то вон какая огромная! Ты только погляди вокруг. Валяй на все четыре стороны! Прячься где пожелаешь! Мне только надо какое-то время не попадаться им на глаза. Долго они искать не станут. Что я для них — рыбешка в океане! Но ты мне нужен, Михаэл. Ты должен мне помочь. Иначе конец и мне, и тебе. Понимаешь?

К. ушел к воротам, зажав в руке список вещей, которые нужно было купить внуку, и сорок рандов. По пути он подобрал старую консервную банку, положил туда деньги и спрятал банку под

камень у ворот фермы. Потом пошел по вельду к горам, следя, чтобы солнце было слева, и обходя фермы. Холмы становились все круче, он поднимался все выше, и к исходу дня, далеко внизу, его взгляду открылись аккуратные белые домики Принс-Альберта. Он обошел их стороной по окрестным холмам, потом вышел на дорогу к Свартбергу. Кутаясь от холода в материнское пальто, он поднимался все выше и выше в горы.

Город теперь виднелся далеко внизу; он начал искать место для ночлега и наткнулся на пещеру, которая недавно служила кому-то пристанищем. В ней был сложен из камней очаг, на полу лежала подстилка из душистого сухого тимьяна. Он развел огонь и зажарил ящерицу, которую убил камнем. Небесный купол стал темно-синим, высыпали звезды. Он свернулся в клубок, засунул руки в рукава и медленно поплыл в сон. Теперь уже трудно было поверить, что он встретил человека, который назвался внуком Висаги и хотел превратить его в своего слугу. Еще день-другой, сказал себе К., и я совсем забуду этого парня, в памяти останется только ферма.

Он думал о ростках, пробивающихся сквозь землю. Завтра они ещё будут живы, думал он, послезавтра поникнут, а на третий день умрут, пока

я скрываюсь в горах. Быть может, если встать на заре и бежать бегом весь день, еще можно успеть их спасти. Их и другие семена, которым суждено погибнуть в земле; они и не подозревают, что так и не увидят солнечного света. Из его сердца тянулся росток нежности к тому клочку земли у водоема — теперь этот росток придется вырвать. Сколько же можно вырывать из сердца нежность? Ведь оно в конце концов окаменеет.

Он провел день в праздности, сидя у входа в пещеру и глядя на дальние вершины, где еще лежали островки снега. Хотелось есть, но он не двинулся с места. Вместо того чтобы прислушаться к просьбе своей плоти, он внимал обступившей его огромной тишине. Заснул он спокойно и легко, и ему приснился сон: быстрее ветра он бежал по пустой дороге, а за ним, едва касаясь резиновыми шинами земли, летела, словно по воздуху, коляска.

Склоны так круто уходили вниз, что солнце не показывалось до полудня и очень скоро зашло за западные вершины. Он все время мерз. Тогда, петляя зигзагами по склону, он стал подниматься выше, покуда совсем не скрылась из виду дорога через перевал; теперь обширное плато Кару проглядывалось на все четыре стороны и где-то

далеко-далеко внизу белел Принс-Альберт. Он нашел новую пещеру и наломал веток, чтобы постелить на каменный пол. Он думал: выше забраться невозможно, ни один человек в здравом рассудке не пустится за мной в погоню через все эти равнины, не полезет в горы, не станет рыскать по скалам и искать меня; теперь, когда я один во всем свете знаю, где я, можно считать, что я в безопасности.

Все осталось позади. Просыпаясь утром, он видел перед собой лишь огромную глыбу дня — сразу день. К. представлялось, что он термит, пробивающий себе путь сквозь скалу. Нужно только жить, больше ничего. Он сидел тихо-тихо, так тихо, что ничуть бы не удивился, если бы птицы вдруг спланировали вниз и уселись ему на плечи.

Иногда, если он пристально вглядывался, то мог различить точку машины, ползущей по главной улице игрушечного городка на равнине; но даже в самые тихие дни к нему не долетало ни единого звука, если не считать возни насекомых и жужжания мух, — они его не забыли, да биения собственного сердца, которое, казалось, стучало в ушах.

Что будет с ним дальше, он не мог себе предста-

вить. В жизни его ни разу не случилось ничего интересного, и всегда кто-то говорил ему, что надо делать дальше; сейчас же рядом никого не было, значит, лучше всего просто ждать.

Он мысленно перенесся в парк Винберг — один из парков, где он прежде работал. Вспомнил молодых матерей, которые приводили своих детишек покачаться на качелях, вспомнил парочки, расположившиеся в тени деревьев, коричнево-зеленых уток в пруду. Пусть идет война, но трава там и сейчас растет и опадают с деревьев листья. И всегда будут нужны люди, чтобы подстригать траву и сметать листья. Однако теперь он не был уверен, что предпочел бы жить среди дубов и зеленых газонов. Когда он думал о парке Винберг, ему представлялось, что земля состоит не столько из минеральных веществ, сколько из органических — из истлевших прошлогодних листьев, и позапрошлогодних, и всех тех лет, что прошли с сотворения мира; земля такая мягкая, что можно ее копать и копать, а она все будет мягкая; можно докопать из парка Винберг до самой середки земли, и она все будет прохладная, черная, влажная, мягкая. Я разлюбил такую землю, думал он, мне не хочется больше держать ее в руках, сыпать меж пальцами. Не хочу больше,

чтобы земля была коричневая, поросшая зеленой травой, пусть будет желтая и красная; не влажная, а сухая; не темная, а светлая; не мягкая, а твердая. Я становлюсь человеком другой породы, думал он, если только есть разные породы людей. Если мне рассечь вену, думал он, глядя на свои запястья, кровь не хлынет струёй, а засочится тоненькой струйкой и очень скоро перестанет, и ранка зарубцуется. С каждым днем я становлюсь тоньше, и жестче, и суше. Если мне суждено умереть здесь, сидя в зеве этой пещеры, упершись подбородком в колени и глядя на равнину, ветер за один день иссушит меня, и я сохранюсь целиком, как сохраняются погребенные в песке.

В первые дни жизни в горах он совершал недальние прогулки, переворачивал камни, грыз корни и клубни растений. Однажды он разворошил муравейник и съел личинки. По вкусу они напоминали рыбу. Потом прекратил отыскивать еду и питье. Он не разведывал свой новый мир. Не обустраивал пещеру, не вел счет проходящим дням. Ему нечего было ждать, разве что следить по утрам, как все четче прочерчивается темным ободом верхушка горы — и вот он уже купается в солнечном свете. Он недвижно сидел или лежал у входа в пещеру, не в силах или не желая сделать

хотя бы малейшее движение. Случалось, он спал день напролет. Может, это и есть блаженство, думал он. После одного пасмурного, дождливого дня весь склон покрылся крохотными розовыми цветочками без листьев. Он стал их есть горстями, и у него заболел живот. Дни становились все жарче, ручьи бежали быстрее. В студеной горной воде ему недоставало терпкости ключевой. Десны кровоточили, он глотал кровь.

Ребенком К., как и все дети в приюте, постоянно голодал. От голода они превращались в хищных зверьков: хватали еду друг у друга с тарелок, вытаскивали кости и очистки из мусорных ящиков, стоявших в загородке при кухне. Потом он стал старше, и голод перестал его терзать. Зверь, что рычал и выл у него внутри, стих, он совсем его заморил. Последние годы в „Нореииусе“ были самыми хорошими: над ним уже не было старших мальчишек и никто его не мучил; он незаметно ускользал за сарай, в свое любимое местечко, и наслаждался одиночеством. Один из учителей то и дело приказывал ученикам заложить руки на затылок, плотно сжать губы, закрыть глаза и так сидеть, а сам в это время ходил по рядам со своей длинной линейкой. Со временем эта поза для К. перестала связываться с наказанием — приняв

ее, он отдавался мечтам; и сейчас он вспоминал, как жаркими днями, борясь с блаженной дремотой, сидел, закинув руки за голову, — в ветвях эвкалиптов ворковали голуби, в соседних классах ребята хором твердили таблицу умножения. И теперь, застыв перед своей пещерой, он иной раз сцеплял пальцы на затылке, закрывал глаза и изгонял все мысли из головы; он ничего не желал и ничего не ждал.

А в иные дни мысли его обращались к молодому Висаги, и он представлял себе, как Висаги прячется где-то там, быть может, в подполье, в темноте, посреди мышиных катышков, или в шкафу на чердаке, или в кустарнике за дедовым полем. Он думал о его красивых башмаках: зачем они ему теперь, если он залез в какую-то нору?

Теперь он с трудом заставлял себя не закрывать глаза при свете солнца. В висках, ни на минуту не отпуская, стучала кровь; иглы света пронзали голову. Он уже ничего не мог есть, даже вода вызывала рвоту. Наступил день, когда он не смог подняться со своего ложа в пещере: черное пальто больше не грело, и он непрерывно дрожал. Он может умереть, дошло вдруг до него, он или его тело, это одно и то же; он будет лежать здесь, покуда лишайник на своде не потемнеет у него

перед глазами, и здесь, в этой далекой пещере, останутся только его белые кости.

Он полз вниз по склону весь день. Ноги не держали его, в голове стучало, каждый раз, когда он глядел вниз, перед глазами начинало все плыть, и он хватался за землю и выжидал, пока не остановится это кружение. Он добрался до дороги, когда долину окутала тень, а к тому времени, как он вступил в город, угас последний свет. Аромат цветущих деревьев хлынул на него из сада. И голос — он звучал со всех сторон, спокойный ровный голос, тот самый, что он слышал в первый свой день в Принс-Альберте. Он стоял в начале Хай-стриг, среди зеленеющих садов, и как ни вслушивался, не мог различить слов, только далекий монотонный звук, который немного погодя слился с птичьим щебетом в ветвях деревьев, а потом заиграла музыка.

На улицах никого не было. Он пристроился в подъезде у входа в банк, подложил под голову резиновый коврик. Скоро его тело остыло, и он начал дрожать. Он то проваливался в сон, то просыпался, стискивая челюсти от боли в голове. Луч фонарика разбудил его, но ему показалось, что это сон. В ответ на вопросы полицейских он бормотал что-то невнятное, вскрикивал, задыхался.

„Нет!.. Нет!“ — повторял он, словно выкашливая из себя это слово. Ничего не понимая, зажав носы от смрада, который от него исходил, полицейские затолкали его в фургон и отвезли в полицейский участок, где заперли в камеру вместе с пятью другими бродягами; он бредил, его била дрожь.

Утром, когда узников вывели умыться, а потом повели завтракать, К. был в сознании, но стоять не мог. Он извинился перед охранником. „Меня ноги не держат, но это пройдет“, — сказал он. Охранник позвал дежурного офицера. Минуту-другую они разглядывали живой скелет, который сидел, привалившись к стенке и скреб голые икры, потом вдвоем подхватили его и вынесли во двор, где он съежился от сияющего солнца; полицейский знаком приказал другому узнику дать ему еду. К. взял тарелку вязкой маисовой каши, но не донес ложку до рта — его начало рвать.

Полицейские никак не могли разобраться, откуда он. Документов при нем не было, даже зеленой карточки. В полицейском протоколе он был записан как „Михаэл Висаги — безработный“ и обвинен в том, что без разрешения властей покинул свой административный округ, что у него нет удостоверения личности, что нарушил комендантский час, а также был пьян и ходил

по городу в неподобающем виде. Приписав его слабость и бессвязную речь алкогольному отравлению, они оставили его во дворе, а всех других узников снова загнали в камеры; днем К. посадили в полицейский фургон и отвезли в больницу. Там с него сняли всю одежду, и он лежал голый на резиновой подстилке, а молоденькая санитарка мыла и брила его, потом надела на него белую рубаху. Он не испытывал никакого стыда.

— Скажите, пожалуйста, мне всегда хотелось узнать, кто это такой — принц Альберт? — спросил он санитарку. Она вроде бы не услышала его вопроса. — И кто такой принц Альфред? Ведь принц Альфред тоже есть? — Закрыв глаза, он с удовольствием ждал, когда мягкая влажная губка еще раз коснется его лица.

И вот он опять лежит в чистых простынях; поместили его не в главный корпус, а в длинную деревянную, крытую железом пристройку, где были, насколько он видел, только дети и старики. С голых стропил свисали на длинных проводах голые лампочки, они все время раскачивались. От бутыли, установленной на штативе, к его руке тянулась резиновая трубка: краем глаза он при желании мог наблюдать, как час за часом понижается уровень жидкости в бутыли.

Один раз, очнувшись от забытья, он увидел в дверях медсестру и полицейского: они смотрели в его сторону и что-то говорили шепотом. Фуражку полицейский держал под мышкой.

Под вечер в окно заглянуло солнце. На губу ему села муха. Он смахнул ее. Она покружилась у него над головой и снова опустилась на губу. Он смирился: тонкий хоботок принялся обследовать его губу.

Санитар вкатил в палату раздаточный столик с обедом. Все, кроме К., получили подносы. По палате поплыл запах еды, и он почувствовал, как рот его наполняется слюной. В первый раз за долгое время ему захотелось есть. Неужели голод снова затянет его в рабство? Впрочем, это ведь больница, здесь лечат тело, оно здесь вступает в свои права.

Сгустились сумерки, потом наступила темнота. Кто-то включил свет. К. закрыл глаза и заснул. Когда он снова открыл их, свет все еще горел. Потом он стал меркнуть и потух. В четыре окна протянулись лунные полосы. Где-то поблизости глухо стучал мотор. Он заснул.

Утром он позавтракал детской кашкой и молоком, и его не вырвало. Он чувствовал, что ему достанет сил подняться, но стеснялся, покуда

не увидел, как какой-то старик, закутавшись в длинный халат поверх пижамы, вышел из палаты. Тогда он встал и походил туда-обратно возле своей койки, чувствуя себя очень неловко в длинной рубахе.

На соседней койке лежал мальчик, вместо одной руки у него была забинтованная культя.

— Что с тобой случилось? — спросил К. Мальчик, не ответив, отвернулся. „Найти бы мне мою одежду — думал К., — и я бы ушел“. Но тумбочка возле его койки была пуста. Днем он снова поел.

— Ешь, пока дают, — сказал ему санитар, который привез еду, — еще успеешь наголодаться. — И двинулся дальше, толкая перед собой столик на колесиках.

Странно он это сказал. К. все смотрел на санитара, пока тот объезжал больных с обедом. Почувствовав на себе его взгляд, санитар улыбнулся ему с другого конца палаты загадочной улыбкой, но когда вернулся забрать поднос, ничего больше не сказал.

Солнце напекло железную крышу, и палата превратилась в раскаленную печь. К. лежал, раскинув ноги, и дремал. Очнувшись в очередной раз от забытья, он увидел над собой того же полицейского и ту же медсестру. Он закрыл глаза, а когда

снова открыл, их уже не было. Наступила ночь.

Утром за ним пришла сестра и отвела к скамье в коридоре главного здания, где он целый час дожидался своей очереди.

— Как ты себя чувствуешь сегодня? — спросил доктор.

К. замялся, не зная, что сказать, и доктор, не дождавшись ответа, переключился на осмотр. Он велел К. глубоко дышать и прослушал его грудь. Он осмотрел его, нет ли венерического заболевания. Все было закончено в две минуты. Доктор начал что-то писать в коричневом блокноте.

— Ты когда-нибудь обращался к врачам по поводу губы? — спросил он, не переставая писать.

— Нет, — ответил К.

— Тебе могут ее поправить, — сказал доктор, но сам не предложил это сделать.

К. вернулся в палату и лег на свою койку, подложив руки под голову. Сестра принесла ему одежду: белье, защитного цвета рубашку и шорты, все тщательно отглаженное.

— Надевай, — сказала она и перешла к другой койке.

К. сел на койке и надел все это на себя. Шорты были ему велики. Когда он встал, пришлось ухватить их за пояс, чтобы не свалились. И тут он

опять увидел в дверях того полицейского.

— Они мне велики, — сказал он сестре. — Дайте мне, пожалуйста, мою собственную одежду.

— Получишь свою одежду на выходе, — ответила сестра.

Полицейский повел его по коридору к столу дежурной и сам забрал сверток в оберточной бумаге. Оба молчали. На стоянке ждала синяя полицейская машина. К., пританцовывая на месте — так жег раскаленный гудрон его босые ступни, — ждал, пока полицейский отопрет заднюю дверцу.

Он думал, что его отвезут обратно в полицейский участок, но вместо этого его провезли через весь город, потом машина тряслась еще километров пять по проселочной дороге и подъехала к лагерю, огороженному посреди пустынного вельда. От своей пещеры в горах К. видел желтый прямоугольник Яккалсдрифа, но принял его за строительную площадку. Ему и в голову не пришло, что это один из трудовых лагерей, что в палатках и в некрашеных деревянных строениях с железными крышами живут люди, а поверх забора в три метра высотой натянута колючая проволока. Поддерживая шорты, он вылез из машины и попал под обстрел любопытствующих

взглядов десятков взрослых и детей, облепивших забор по обе стороны от ворот. У входа стояла караулка с крытой верандой, на которой в двух кадках росли два одинаковых серо-зеленых кактуса. На веранде их поджидал толстяк в военной форме. К. узнал синий берет добровольческих отрядов. Сопровождавший К. полицейский поздоровался с толстяком, и они ушли в караулку. К., со свертком под мышкой, остался стоять перед воротами на обозрение толпы. Сначала он смотрел вдаль, потом перевел взгляд на свои ноги; он не знал, какое выражение придать своему лицу.

— Где спер штаны, друг? — крикнул кто-то.

— По всему видать — у нашего сержанта! — ответил другой голос, и послышался смех.

Из домика вышел второй охранник. Он отпер лагерные ворота, провел К. через толпу и зашагал по утоптанному плацу к одному из деревянных бараков. Внутри барака было темно — ни одного окошка. Охранник показал незанятые нары.

— Теперь твой дом тут, — сказал охранник. — Держи его в чистоте, другого у тебя нет. — К. взобрался на нары и лег на обтрепанную поролоновую подстилку; до железной кровли можно было достать рукой. Задыхаясь от жары, он ждал, когда уйдет охранник.

Остаток дня он пролежал на нарах, вслушиваясь в звуки лагерной жизни за стенами барака. В дверь ворвалась стайка мальчишек, они с гиканьем носились друг за дружкой, вскакивали на нары и прятались под ними, а когда убежали, плотно захлопнули дверь. Он старался уснуть и не мог. В горле у него пересохло. Он думал о прохладной пещере в горах, о полноводных ручьях. Тут как в приюте, думал он: я опять попал в приют „Нореииус“, только теперь я уже старый, я не вынесу. Он стянул с себя рубашку и шорты и развернул сверток; но запах пота, который пропитал его одежду, за эти дни стал затхлым, тяжелым и казался чужим. В одних трусах, распластавшись на нагревшейся подстилке, он ждал, когда кончится день.

Кто-то отворил дверь и на цыпочках приблизился к его закутку. К. притворился спящим. Его голой руки коснулись чьи-то пальцы. Он вздрогнул.

— Тебе плохо? — спросил человек. К. не мог разглядеть лицо мужчины — тот стоял против света, падающего из дверного проема.

— В порядке, — ответил К. Слова, казалось, долетали откуда-то издалека.

Незнакомец все так же на цыпочках вышел из

барака. К. подумал: я не знал, мне не сказали, что отвезут обратно к людям.

Немного погодя он оделся и вышел из барака. Солнце припекало, воздух был неподвижен — ни дуновения ветерка. В тени палатки на одеяле лежали две женщины. Одна спала, другая прижимала к груди спящего младенца. Она улыбнулась К.; он кивнул и прошел мимо. Отыскав цистерну с водой, он долго пил. На обратном пути он заговорил с женщиной.

— Можно тут где-нибудь постирать? — спросил он.

Она показала, где душевая.

— Мыло у тебя есть? — спросила она.

— Есть, — соврал он.

В душевой было два таза и два душа. Он хотел принять душ, но вода из крана не лилась. Он постирал белую куртку с нашивкой „Св. Иоанн“, черные брюки, желтую рубашку и трусы, резинка в которых совсем растянулась; приятно было погружать одежду в воду, тереть и отжимать ее, стоя с закрытыми глазами, погрузив по локоть руки в холодную воду. Он надел башмаки. Позже, когда он развешивал одежду на веревке, он заметил надпись на стене: „Яккалсдрифский лагерь для эвакуированных. Душ работает: для мужчин от 6

до 7 веч.; для женщин от 7.30 до 8.30. Соблюдайте очередь. Экономьте воду“. Он проследил, куда идет труба от цистерны: она ныряла под забор, потом поднималась к пригорку, на котором стояла водокачка.

Женщина с ребенком остановила его, когда он проходил мимо.

— Ты развесил там одежду, — сказала она, — так учти — утром ее не будет.

Тогда он все снял и расстелил вещи на своей койке.

Солнце клонилось к закату; людей вокруг стало больше, и куда ни посмотри — дети. У соседнего барака играли в карты три старика. Он постоял, поглядел.

Он насчитал тридцать палаток, они были расставлены по всей территории на равном расстоянии одна от другой, и семь бараков; а еще душевые и уборные. Фундаменты для второго ряда бараков были уже заложены, из цемента торчали ржавые железяки.

Он пошел к воротам. На крыльце караулки дремал в шезлонге один из охранников, рубашка на нем была расстегнута до самого пояса. К. приник лицом к решетке, ему хотелось разбудить охранника. „Почему меня сюда привезли? — хо-

тел он спросить. — Сколько мне тут сидеть?“ Но охранник не открывал глаза, и у К. не хватило храбрости его окликнуть.

Он побрел назад к бараку, а от барака к цистерне. Он не знал, куда себя деть. Какая-то девчушка с ведром направилась было к цистерне, но, увидев его, повернула обратно. Он ушел к задней изгороди и стал смотреть на пустынный вельд за лагерем.

В двух-трех каменных очагах, сложенных между палатками, загорелся огонь; лагерь оживился, слышался говор, люди переходили с места на место.

В клубах пыли, к воротам подкатил синий полицейский пикап, за ним открытый грузовик, набитый людьми. Ребятишки гурьбой бросились к воротам. Охранник пропустил пикап в ворота, и он медленно поехал к четвертому бараку, на крыше которого виднелась труба. Из пикапа вышли две женщины, шофер втащил в барак большую коробку. В пикапе играло радио — К. слышал, хоть и стоял вдалеке у забора. Вскоре из трубы на крыше выплыло первое облачко дыма.

Мужчины, приехавшие на грузовике, сгружали вязанки дров и складывали их во дворе.

Шофер-полицейский вернулся в кабину и на-

чал причесываться. Одна из женщин, рослая, мощная, в брюках, вышла из барака и стала бить в железный треугольник. Еще не замер последний удар, а к бараку уже сбегалась толпа ребятишек с мисками, кружками и консервными банками в руках, подошли матери с грудными младенцами. Женщина в брюках оттеснила ребятишек от двери и начала впускать их по двое в барак. К. подошел и встал позади всех. Первые ребята уже выходили из барака, К. увидел у них в руках суп и ломти хлеба.

Какой-то малыш споткнулся и выплеснул суп себе под ноги. Сконфузившись, словно он обмочился, малыш снова занял очередь. Кое-кто из ребят съедал суп прямо возле барака, сев на голую землю, другие уносили к себе в палатки.

К. подошел к женщине в дверях.

— Извините, — сказал он, — а можно мне получить еду? У меня нет миски. Я из больницы.

— Это только для детей, — ответила женщина и отвела взгляд.

Он пошел в свой барак и надел черные брюки, хотя они были еще влажные. Шорты он засунул под подстилку.

— Где я могу поесть? — спросил он полицейского в пикапе. — Я сюда не просился. А теперь вот

не знаю, где мне взять еду?

— Это не тюрьма, — сказал полицейский, — это лагерь, тут все сами зарабатывают себе на еду. И ты работай.

— Как же мне работать, когда я тут заперт? Какую работу я должен делать?

— Катись ты, — огрызнулся полицейский. — Спроси у своих дружков. Тоже мне нашелся, буду я тебя задаром кормить!

В горах было лучше, думал К. Было лучше на ферме, на дорогах. В Кейптауне было лучше. Он подумал о раскаленном темном бараке, о незнакомых чужих людях на койках, об их насмешках. Как будто я вернулся в детство, подумал он, как будто мне снится кошмар.

Теперь во многих местах разожгли очаги, по лагерю поплыл запах еды, где-то даже жарили мясо. Рослая женщина в брюках поманила его рукой и сунула ему в руку пластиковое ведро.

— Вот вымой, — сказала она, — потом поставишь сюда. А дверь запри. Умеешь запирать такой замок?

К. кивнул. На дне ведра осел слой гущи от супа. Женщины сели в пикап рядом с полицейским; когда машина тронулась, К. обратил внимание, что все трое уставились прямо перед собой и не

смотрят по сторонам, как будто все им тут давно известно.

Стемнело. Вокруг очагов люди ели и разговаривали; потом кто-то заиграл на гитаре, начались танцы. Сначала К., держась в тени, смотрел на отдыхающих людей; потом ему стало неловко, он ушел в пустой барак и лег на койку.

Кто-то вошел в барак; когда темная фигура приблизилась к нему, он повернулся.

— Хочешь сигарету? — спросил голос.

К. взял сигарету и сел, прислонившись к стене. Чиркнула спичка, мужчина, стоящий перед ним, судя по виду, был старше его.

— Ты откуда сюда прибыл? — спросил мужчина.

— Я сегодня походил вдоль заднего забора, — сказал К. — Перелезть его ничего не стоит. Ребенок и тот мигом перелезет. Почему люди не уходят?

— Это не тюрьма, — сказал мужчина. — Слышал, тебе полицейский объяснял? Это Яккалсдриф. Лагерь. Знаешь, что такое лагерь? Это для людей, у которых нет работы. Для всех тех, кто ходит с фермы на ферму и просит работы, потому что им нечего есть и нет крыши над головой. Таких они забирают сюда, чтоб не бродили и не

попрошайничали. Ты спрашиваешь, почему я не убегаю? Да потому что бежать мне некуда и зачем лишаться такой приятной жизни? Здесь мягкие постели, даровое топливо и охранник с ружьем, который не даст ворам тебя ограбить. Ты что, с луны свалился?

К. молчал. Он не очень понял, кого этот человек упрекает.

— Перелезешь через загородку, — сказал мужчина, — и лишишься дома. Теперь твой дом — Яккалсдриф. Добро пожаловать! Убежишь отсюда — и они тебя схватят, потому что ты станешь бродягой. Ты бездомный. Первый раз тебя отвозят в Яккалсдриф. Второй раз — Брандвлей. Хочешь в Брандвлей? Там каторга — каменные разработки, охранники с кнутами. Перелезешь забор, схватят тебя — это у тебя ведь второе нарушение, отправят в Брандвлей. Ты это все запомни. Выбирать не из чего. Да и куда ты хочешь податься? — он понизил голос. — В горы?

„Чего ему от меня надо“, — думал К. Советчик тем временем шлепнул его по колену.

— Пошли к нам, — сказал он. — Видел, как они обыскивают людей в воротах? Ищут спиртное. В лагере спиртное запрещено. Идем к нам, выпьем.

И он отвел К. в компанию, собравшуюся вокруг гитариста. Тот оборвал игру.

— Это Михаэл, — сказал его новый знакомый. — Не чаял, как сюда попасть, уж больно отдохнуть захотелось. Примем его в нашу компанию?

К. усадили, дали ему глотнуть вина из бутылки, обернутой в грубую бумагу, забросали вопросами: откуда он пришел? что делал в Принс-Альберте? где его забрали? Никто не мог уразуметь, зачем он ушел из Кейптауна, зачем отправился в такую даль, в места, где нет работы, где целые семьи покидают родные фермы.

— Я вез в Принс-Альберт свою мать, мы хотели там поселиться, — пытался объяснить К. — Мать болела, ноги у нее совсем не ходили. Она хотела переехать в деревню, подальше от дождей. Там, где мы жили, все время идут дожди. Только мать умерла по дороге, в Стелленбосе, в тамошней больнице. Так и не увидела Принс-Альберта. А она в здешних местах родилась.

— Бедняжка, — сказала какая-то женщина. — Да разве вы не получали пособия в Кейпе? — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Здесь-то пособия не дают. Вот оно, наше пособие. — И она обвела рукой лагерь.

К. торопился досказать:

— Потом я работал на железной дороге. Помогал расчищать пути от завала. А потом попал сюда.

Наступила тишина. „Теперь нужно рассказывать про пепел, — подумал К., — чтобы они всё знали, всё до конца“. Но он почувствовал, что не может, видно, не настало еще время. Парень с гитарой начал пощипывать струны и заиграл что-то новое. Внимание собравшихся переключилось на песню.

— В Кейптауне тоже не платят пособия, — сказал К. — Теперь нигде нет пособия.

В соседней палатке горела свеча, по ее освещенным стенам двигались огромные тени. К. откинулся на локоть и стал смотреть на звезды.

— Мы тут уже пять месяцев, — произнес голос рядом с ним. Говорил мужчина, который жил в этой палатке. Звали его Роберт. — Жена, дети — три девочки и мальчик, да еще сестра с детьми. Я работал на ферме неподалеку от Клаарструма. Долго работал — двенадцать лет. И вдруг — на тебе! — нет спроса на шерсть. Тогда ввели норму — столько-то на одного фермера, и не больше. Потом закрыли одну дорогу на Аудсхорн, а за ней и другую, потом обе открыли, потом окончательно закрыли обе. Тогда пришел ко мне хозяин и говорит: „Не могу я тебя больше держать. Больно

много ртов, не накормишь. Самому не хватает“. — „Куда же мне податься? — спрашиваю. — Вы знаете, работы сейчас не найти“. — „Прости, говорит, я против тебя ничего не имею, просто самому не хватает“. Ну и выпроводил меня вместе со всем семейством, а одинокого молодого парня, который и работал-то у него без году неделя, оставил. Одного он мог прокормить. Я ему сказал: „А как я свою семью прокормлю? Теперь ведь я без работы“. Ну что там говорить, собрали мы пожитки и ушли; и только вышли на дорогу — вот честное слово, не вру! — только вышли, полиция нас и забрала; он им позвонил, они забрали нас, и в ту же ночь мы оказались здесь, в Яккалсдрифе, за колючей проволокой. „Не имею места проживания? — сказал я им. — Но прошлой ночью оно у меня было, как это вы успели узнать, что сегодня ночью у меня не будет места проживания?“ А они в ответ: „Где вам лучше спать: в вельде, под кустом, точно звери, или в лагере, где есть постели и водопровод?“ — „А я могу выбирать?“ — спросил я. „Ты уже выбрал, говорят. Яккалсдриф выбрал. Нечего тут шляться по дорогам и беспокоить людей“. Но я тебе точно скажу, в чем тут дело, почему они нас тут же схватили. Не хотят они, чтобы люди скрывались

в горах, а потом вернулись однажды ночью, поломали изгороди и угнали их скот. Знаешь, сколько тут в лагере мужчин, молодых мужчин? — Он склонился к К. и понизил голос: — Тридцать. С тобой тридцать один. А сколько женщин, детей и стариков? Оглянись вокруг и посчитай. Вот я тебя и спрашиваю: где же мужчины, которых тут нет, а семьи их тут?

— Я был в горах, — сказал К. — Я никого не видел.

— Но ты спроси любую из этих женщин, где ее муж, она тебе скажет: „Он работает и каждый месяц посылает мне деньги“, или: „Он убежал, бросил меня“. Поди разберись!

Они долго молчали. Маленький огонек наискось прочертил небо. К. показал на него пальцем.

— Звезда упала, — сказал он.

На следующее утро К. вышел на работу. Первая заявка на рабочую силу поступила от железнодорожной администрации, вторая — от окружного совета Принс-Альберта, дальше пошли запросы от местных фермеров. Грузовик пришел за ними в шесть тридцать, а в семь тридцать они уже работали к северу от Леу-Гамки: расчищали от травы и кустарника русло реки у железнодорож-

ного моста, вверх и вниз по течению, копали ямы и размешивали цемент для придорожной ограды. Работа была тяжелая; к полудню К. совсем выдохся. „В горах я стал стариком“, — думал он.

Возле него остановился Роберт.

— Чего ты надрываешься, приятель, — сказал он. — Ты вспомни, сколько нам платят. Всем одинаково — один ранд в день. Я получаю полтора ранда, потому что у меня семья. Так что умерь свой пыл. Сходи хоть по нужде. Ты ведь из больницы, не больно крепкий.

Позже, во время перерыва, он дал К. один из своих бутербродов и лег возле него в тени под деревом.

— На пять-шесть рандов, что ты получишь в неделю, — объяснил он ему, — ты должен себя кормить. В лагере только ночуют. Те две тетки, что ты видел вчера, приезжают три раза в неделю, но кормят они детей, это благотворительность. Моя жена работает в городе прислугой, три раза в неделю по полдня. Маленького берет с собой, за остальными смотрит сестра. Так что мы, может, выбиваем и двенадцать рандов в неделю. На них надо прокормить девять человек: троих взрослых и шестерых ребятишек. Другим еще хуже. А когда работы нет, совсем плохо — сидим за колючей

проволокой и затягиваем потуже ремни.

А деньги, что ты заработал, можно потратить только в одном месте — в Принс-Альберте. Но и тут неладно: не успеешь войти в какую-нибудь лавчонку, как цены уже подскочили. Почему же это? Да потому, что ты из лагеря. Не хотят они, чтобы рядом с их городом был лагерь. И всегда не хотели. Они тут сначала такое подняли! Рассадник болезней, говорят. Антисанитарные условия, распутство. Настоящий вертеп — мужчин и женщин согнали вместе. Послушать их, так выходит, что посредине лагеря нужно перегородку поставить: мужчины по одну сторону, женщины по другую, а ночью чтоб вдоль этой перегородки собаки бегали. Им, я думаю, чего бы хотелось? Загнать лагерь подальше в пустыню, с глаз долой. В полночь мы, как эльфы, на цыпочках прибегаем и делаем всю работу: перекапываем их сады, моем посуду, а утро пришло — повсюду чистота, а нас нет.

Ты, конечно, спросишь: кому же он понадобился, этот лагерь? Я тебе отвечу. Во-первых, железной дороге. Дай им волю, они бы через каждые десять миль таких лагерей нагородили. Во-вторых, фермерам. Потому что это дешевле некуда — вызвать на день бригаду из Яккал-

сдрифа, а вечером придет грузовик, и их как не бывало, никаких тебе беспокойств, и о семьях не надо думать, что дети замерзнут или передохнут с голода; хозяин знать ничего не знает, не его забота.

Неподалеку, но все же на достаточном расстоянии, так что слышать он их не мог, сидел на складной скамеечке бригадир. К. смотрел, как он наливает кофе из термоса. Его длинные плоские пальцы никак не могли ухватить ручку кружки. Потом он поднял ее двумя пальцами и стал пить. Глаза его над краем кружки встретились со взглядом К. „Что он увидел? Каким я ему представляюсь?“ — подумал К. Бригадир поставил на землю кружку, поднес к губам свисток и, не вставая со скамеечки, дунул в него.

Под вечер, когда К. вырубал корни терновника, тот же бригадир подошел и встал за его спиной. К. посмотрел из-под руки, увидел два черных башмака и пальмовую трость, глухо постукивающую по пыли, почувствовал, как его охватывает знакомая дрожь. Он продолжал рубить, но сила ушла из рук. Только когда бригадир двинулся дальше, он начал приходить в себя.

К вечеру он так устал, что не мог даже есть. Он вынес свой матрац наружу, лег и стал смотреть,

как одна за другой на фиолетовом небе появляются звезды. Потом кто-то на пути в нужник споткнулся об него. Он поскорее унес матрац обратно в барак и лег в темноте на свои нары.

В субботу им выплатили деньги и приехала лавка. В воскресенье лагерь посетил пастор, который отслужил службу, после чего лагерные ворота раскрыли до комендантского часа. К. пошел на богослужение. Он стоял среди женщин и детей и пел. Затем пастор склонил голову и начал читать молитву: „Пусть мир снова войдет в наши сердца, о господи, и сделай так, чтобы вернулись мы в наши дома, не тая зла ни на кого, исполни нас решимостью жить всем вместе в дружбе во имя твое, следуя твоим заповедям“. Кончив молитву, он поговорил с несколькими стариками, затем сел в синий пикап, который дожидался его у ворот, и укатил.

Теперь они могли отправляться в Принс-Альберт, в гости к друзьям или просто погулять по вельду. Мимо К. проследовало целое семейство, восемь человек: отец и мать в скромных черных одеждах, девочки в розовых и белых платьицах и в белых шляпках, мальчики в серых костюмчиках и в галстуках, ноги втиснуты в начищенные до блеска черные ботинки — они вышли за во-

рота и пустились в неблизкий путь до города. За ними последовали другие обитатели лагеря: стайка девочек — идут, взявшись за руки, смеются; гитарист с сестрой и своей девушкой.

— Может, и нам в город? — обратился К. к Роберту.

— Пусть молодежь идет, коли им хочется, — сказал Роберт. — Чего там такого особенного, в Принс-Альберте, в воскресенье? Я сколько раз был, ничего интересного. А ты иди с ними, если хочешь. Купи чего-нибудь прохладительного, посиди за столиком перед кафе, почешись — ведь, поди, блохи тебя здорово начкалили. Больше там делать нечего. Я тебе вот что скажу: если мы в тюрьме, пусть это и будет тюрьма, и нечего делать вид, будто ты на воле.

И все же К. вышел за ворота. Он медленно брел по берегу речки Яккалс, покуда не скрылись из виду колючая проволока, и палатки, и насосный ветряк. Тогда он лег на теплый серый песок, надвинул берет на лицо и заснул. Проснулся он весь в поту. Он сдвинул с лица берет и сразу сощурился. Огромное — во весь небосвод — солнце ударило ему в веки всеми цветами радуги. „Я как муравей, который потерял лаз“, — подумал он. Он запустил обе руки в песок и стал снова и снова

просыпать его меж пальцев.

В больнице ему сбрили усы, но теперь они стали отрастать и прикрыли верхнюю губу. И все ж ему было нелегко сидеть у костра вместе с Робертом и его семейством — дети не сводили с него глаз. Особенно один малыш, он прямо-таки впивался в него глазами и не отводил взгляда, куда бы К. ни пересел. Смущенная мать тащила его в палатку, но он хныкал и вырывался, а К. не знал, что ему делать, куда смотреть. Он подозревал, что девчонки постарше смеются за его спиной. Он никогда не знал, как себя вести с женщинами. Благотворительницы, что привозили суп, оттого ли что он такой худой, а может, просто считали его дурачком, постоянно разрешали ему подчищать остатки из бачков с супом: три раза в неделю это была его еда. Половину своего заработка он отдавал Роберту, остальные деньги носил в кармане. Покупать ему ничего не хотелось: в город он не сходил ни разу. Роберт по-прежнему приглядывал за ним и давал советы, но про лагерь говорить перестал.

— Таких сонуль, как ты, я сроду не видел, — сказал как-то Роберт.

— И верно, — согласился К. Он поразился, что Роберт это заметил.

Работы у моста закончились. Два дня все мужчины оставались в лагере, потом приехал муниципальный грузовик и отвез их на дорожные работы. К. стоял в очереди у ворот вместе со всеми, но в последний момент отошел в сторону и не полез в кузов.

— Я болен, не могу работать, — сказал он охраннику.

— Решай, как знаешь, — сказал тот, — но платить тебе не будут.

К. вынес тюфяк и лег в тени барака, прикрыв лицо согнутой в локте рукой; лагерь жил вокруг него своей жизнью. Он лежал так неподвижно, что малыши, которые сначала держались на расстоянии, стали его тормошить и поднимать, но так и не подняли и тогда включили его тело в свои игры. Они карабкались на него, валились плашмя, как будто он был просто бугорком на земле. Все так же закрывая лицо, он перекатился на живот и обнаружил, что может дремать, даже когда маленькие чертенята сидят на нем верхом. Ему было приятно. Ребячьи прикосновения будто вливали в него здоровье; он огорчился, когда приехала санитарная служба и двое мужчин стали засыпать известью отхожие места, отогнав К. и ребятишек подальше.

К. подошел к загородке и спросил охранника:

— Можно мне выйти?

— Ты ведь, кажется, болен? Утром ты сказал мне, что болен.

— Я не хочу работать. Почему я должен работать? Это не тюрьма.

— Работать не хочешь, а чтобы тебя кто-то кормил, хочешь?

— Мне не нужно все время есть. Когда захочу есть, пойду работать.

Охранник сидел в качалке на крыльце караулки, прислонив ружье к стене возле себя. Он улыбнулся, глядя куда-то вдаль.

— Так ты откроешь ворота? — спросил К.

— Кроме как с рабочей бригадой ты отсюда не выйдешь, — сказал охранник.

— А если я перелезу через загородку? Ты что сделаешь?

— Если ты перелезешь через загородку, я тебя застрелю и раздумывать не стану, уж ты мне поверь, так что не пытайся.

К. погладил рукой проволоку, точно решая, рискнуть или нет.

— Хочу кое-что объяснить тебе, друг ты любезный, — сказал охранник, — для твоей же пользы, поскольку ты здесь новичок. Ну выпущу я тебя

отсюда, да ведь через три дня ты придешь и умолять будешь, чтобы я тебя впустил обратно. Я-то знаю. Через три дня. Будешь стоять вот тут у ворот и плакать и умолять, чтоб я тебя впустил. Ты сам поразмысли, ну зачем тебе бежать отсюда? Тут крыша над головой, и койка, и еда. И работа. Людям ведь как трудно сейчас живется, сам видишь, не мне тебе рассказывать. Так чего тебе надо?

— Не хочу жить в лагере, вот и все, — сказал К. — Позволь мне перелезть через загородку и уйти. Повернись ко мне спиной. Никто и не заметит, что я ушел. Вы ведь даже не знаете, сколько тут у вас людей.

— Влезешь на загородку, я тебя застрелю, мистер. И нисколечко не пожалею. Предупреждаю тебя.

На следующее утро К. не вставал, покуда все не уехали на работу. Позже он опять подошел к воротам. Дежурил все тот же охранник. Они поговорили про футбол.

— У меня диабет, — сказал охранник. — Поэтому меня и не отправили на север. Три года уж служу, то писарем был, то в каптерке, то вот охранником. Ты говоришь, в лагере плохо, а попробовал бы ты высидеть тут двенадцать часов подряд — сиди да смотри вон на те кусты! И все

же, друг, скажу тебе кое-что, как на духу скажу: в тот день, когда я получу предписание ехать на север, я смоюсь. И больше они меня не увидят. Это не моя война. Пусть сами воюют.

Он поинтересовался, что у К. со ртом („Просто любопытно“, — сказал он), и К. ему объяснил. Он кивнул.

— Я так и думал, — сказал он. — А потом подумал, может, кто тебя порезал.

В караулке у него стоял маленький холодильник. Он вынес хлеб и холодную курятину и поделился с К., просунув ему бутерброд сквозь проволоку.

— Мы тут, знаешь ли, неплохо живем, — сказал он, — если иметь в виду, что сейчас война. — И хитровато ухмыльнулся.

Рассказал о лагерных женщинах, как они приходят по ночам к нему и к другим охранникам.

— Томятся они тут без мужиков, — сказал он. Потом зевнул и уселся в качалку.

На следующее утро пришел Роберт и разбудил К.

— Одевайся, — сказал Роберт, — надо выходить на работу.

К. скинул его руку.

— Не дури. Сегодня все должны быть на месте,

никаких болезней, никаких объяснений. Надо идти.

Через десять минут К. уже стоял за воротами в ожидании грузовика. Их провезли по улицам Принс-Альберта, потом грузовик выехал из города и взял направление на Кларструм; они свернули на проселок, проехали мимо большой тенистой усадьбы и остановились у поля зеленой сочной люцерны; их ждали два полицейских-резервиста с повязками на рукаве и с ружьями. Спрыгнув на землю, каждый получал серп; работник, который раздавал серпы, ничего не говорил и не смотрел им в глаза. Появился высокий мужчина в свежеотглаженных брюках цвета хаки. Он поднял вверх серп.

— Все вы знаете, как им работать! — крикнул он. — Сожнете вот это поле, тут два моргана. Начинайте!

Растянувшись в линию, в трех шагах друг от дружки, жнецы двинулись по полю: наклон — пучок в руке, сечет серп, полшага вперед — работа пошла в таком ритме, что К. тут же вспотел и у него закружилась голова.

— Чище режь, чище! — рявкнул голос у него за спиной. К. обернулся — это был фермер в хаки; он почувствовал запах дорогого дезодоран-

та. — Где тебя учили жать, обезьяна? — заорал фермер. — Ниже бери, ниже! — Он отнял у К. серп, оттолкнул его в сторону, захватил в руку пук люцерны и чисто и низко срезал его. — Видал? — рявкнул он. К. кивнул. — Вот так давай, так! — К. наклонился и срезал следующий пучок почти у самой земли. — Где они только набирают такую дохлятину? — сказал фермер одному из резервистов. — Он же полумертвый! Скоро они трупы повыкапывают!

— Не могу я больше, — с трудом ворочая языком, сказал К. Роберту в первом перерыве. — Спина прямо раскалывается, и каждый раз, когда выпрямляюсь, перед глазами все плывет.

— А ты помедленней, — посоветовал Роберт. — Сил у тебя нет, а заставить они тебя не могут. К. смотрел на неровный валок, который он сжал.

— Знаешь, кто этот крикун? — зашептал Роберт. — Зять капитана полиции Остхёйзена, у него жнейка отказала, а он поднял телефонную трубку, позвонил в полицейский участок и, пожалуйста, получайте: утром тридцать пар рук уже жнут тебе люцерну. Вот она, наша система!

Уже темнело, когда они дошли до конца поля, завтра предстояло сгребать траву в копны. К. еле держался на ногах. В грузовике он закрыл глаза,

и его будто швырнуло куда-то и закружило в бездне. В бараке он повалился на койку и заснул мертвым сном. А глубокой ночью проснулся от плача младенца. Вокруг слышался недовольный ропот: похоже, все проснулись. Казалось, прошел уже не один час, а они все лежали и слушали, как где-то в палатке то всхлипывал, то заходился в крике ребенок. К. лежал, сжав на груди кулаки, не было мочи — так хотелось спать; пусть он сгинет, лишь бы замолчал!

Утром в грузовике, под воющим ветром, К. упомянул об этом ночном плаче.

— Хочешь знать, как они его в конце концов утихомирили? — сказал Роберт. — Бренди. Бренди и аспирин. Другого лечения здесь нет. В лагере нет врача, даже медсестры нет. — Он помолчал, потом снова заговорил: — Я тебе расскажу, что тут было, когда они открыли этот лагерь, открыли „новый дом“, который они, видите ли, построили для всех бездомных, для переселенцев из Бонтискраала и Ондердорпа, для уличных нищих, бродяг, что ютятся в горах, для тех, кого выгнали с ферм. Не прошло и месяца с того дня, как они отворили ворота лагеря, а все тут заболели. Дизентерия, корь, грипп — одно за другим. Потому что заперли всех как скотину в загоне. Приехала

окружная фельдшерица, и знаешь, что с ней было? Спроси тут каждого, кто тогда был, они тебе скажут. Она стояла посередине лагеря, у всех на виду, и плакала. Глядела на детишек, на эти скелетики, и не знала, что ей делать, — стояла и плакала. Большая, сильная женщина! Окружная фельдшерица.

Ну, в общем, они перепугались. Стали бросать какие-то таблетки в воду, выкопали сортиры, стали прыскать чем-то от мух и привозить бачки с супом. Только, думаешь, из любви к нам? Ни черта подобного! Им так легче, чтобы мы были живы, потому что уж больно страшно на это смотреть, когда мы заболеваем и умираем. Если бы просто все усыхали и превращались в бумагу, а потом в пепел и его куда-то уносило, они бы и пальцем ради нас не шевельнули! Но они не хотят расстраиваться. Хотят ложиться спать в хорошем настроении.

— Не знаю, не знаю, — сказал К.

— Ты не вглядывался, — сказал Роберт. — Загляни поглубже в их души — сам увидишь. К. пожал плечами.

— Ты ребенок, — сказал Роберт. — Всю жизнь спишь. Пора бы и проснуться. Как ты думаешь, почему они тебя тут подкармливают? Тебя и

детей? Да потому что считают тебя безвредным, считают, что ты не замечаешь ничего вокруг.

Через два дня младенец, что кричал ночью, умер. Поскольку власти установили железное правило ни под каким видом не устраивать кладбищ ни на территории лагерей, ни поблизости от них, младенца похоронили на отдаленном участке городского кладбища. Мать, молоденькая восемнадцатилетняя женщина, вернувшись с похорон, отказалась от еды. Она не плакала, просто сидела возле палатки и смотрела в ту сторону, где раскинулся Принс-Альберт. Друзей, которые подходили утешать ее, она не слышала; когда они прикасались к ней, она отталкивала их руки. К. долго стоял в сторонке у изгороди, чтоб ей не было видно, и смотрел на нее. „Значит, вот так я прохожу науку? — спрашивал он себя. — Так я узнаю хоть про то, как живут в лагере?“ Картины жизни одна за другой мелькали перед ним, и все они, казалось ему, были связаны. Наверно, во всем этом один смысл, тревожно думал он, все сходится к одному или грозит сойтись, но только вот к чему — это еще было ему неясно.

Женщина просидела у палатки всю ночь и еще день, потом ушла в палатку. Она так и не заплакала и, как говорили, не брала в рот ни крошки.

Каждое утро К. просыпался с одной мыслью: увижу ли я ее сегодня? Она была низенькая и толстая: никто в лагере точно не знал, кто отец ребенка, ходили слухи, что он скрывается в горах. К. думал: может, я наконец влюбился? Затем, три дня спустя, она вышла из палатки и все пошло по-прежнему. Наблюдая за ней издали, К. не находил в ней никакого отличия от других. Он так и не заговорил с ней.

Однажды ночью, в декабре, разбуженные взволнованными криками люди повскакали с коек и увидели, как в темном небе, в той стороне, где находится Принс-Альберт, распускается огромный оранжевый цветок. Люди замерли, зашептались, кто-то свистнул.

— Голову даю на отсечение, это полицейский участок! — крикнул кто-то.

Они целый час стояли и смотрели, как огонь взлетал фонтаном вверх, опадал и взлетал снова. Порой казалось, что крики и рев пламени доносятся сюда через пустынные пространства вельда. Потом постепенно цветок стал краснеть и тускнеть, фонтан совсем опал, детишки заснули у матерей на руках, а те, что постарше, терли слипающиеся глаза, и когда на горизонте осталось одно лишь дымное облако, люди начали

расходиться.

Полиция нагрянула на рассвете. Отряд из двадцати человек, кадровые полицейские и молоденькие резервисты, с ружьями, собаками; под команды офицера, который стоял на крыше полицейской машины и беспрерывно кричал в мегафон, они двинулись по рядам палаток, вырывая опорные колья, спуская палатки, обрушивая удары на запутавшихся в складках парусины людей. Полицейские врывались внутрь палаток и избивали спящих. Убежавшего было парнишку они загнали в угол за отхожим местом и заколотили до беспамятства: страшно кричал мальчик — собака сбила его с ног, разодрала голову, по лицу его текла кровь. Полуодетых мужчин и женщин с детьми выгнали на открытые площадки перед палатками и приказали всем сесть на землю; женщины плакали, молились, другие сидели молча, оцепенев от страха. Окруженные собаками и полицейскими с винтовками на изготовку, люди смотрели, как другие полицейские набрасываются, точно стая саранчи, на палатки, выволакивая из них пожитки, вытряхивая на землю чемоданы и коробки; вскоре на месте палаток громоздились груды одежды, матрацы, постельное белье и одеяла, продукты, кастрюли

и посуда, тазы, кувшины; покончив с палатками, полицейские двинулись в бараки и там тоже перевернули все вверх дном.

Все это время К. сидел на земле, натянув на уши берет, — дул порывистый утренний ветер. Рядом, на руках у матери, плакал ребенок, в одной распашонке, с голым задиком, а в оба ее плеча крепко вцепились две маленькие девчушки.

— Иди, сядь ко мне, — шепнул он младшенькой.

Не отводя глаз от раскиданных по земле вещей, она переступила через его ноги и встала в защитное кольцо его рук, все так же посасывая большой палец. Сестричка последовала ее примеру. Девочки стояли, прижавшись друг к другу; младенец выкручивался из материнских рук и плакал.

Людей построили в ряд и начали одного за другим пропускать в ворота. Все, что было при них, приказали складывать перед воротами, даже одеяла, в которые кое-кто завернулся поверх рубах. Полицейский с собакой выбил маленький транзистор из рук женщины, что шла впереди К., он швырнул его на землю и раздавил ногой.

Никаких транзисторов! — крикнул он. За воротами мужчин погнали налево, женщин и детей направо. Заперли ворота пустого лагеря. Потом

капитан, тот самый высокий блондин, который выкрикивал команды в мегафон, привел двух охранников и поставил их перед выстроившимися вдоль забора мужчинами. Охранники были без автоматов, волосы всклокочены. „Интересно, что произошло в караулке?“ — подумал К.

— А теперь перечислите, кого не хватает, — потребовал капитан.

Не хватало троих, они жили в другом бараке. К. с ними ни разу и словом не перемолвился.

Охранники стояли навытяжку перед капитаном, а капитан орал на них. Сначала К. подумал, что он просто привык к мегафону, потому и кричит, но скоро увидел, что капитан клокочет от ярости.

— Кого мы пригрели на своей груди? — надрывался он. — Преступников! Преступников, саботажников и лентяев! А что делаете вы, вы двое? Жрете, дрыхнете, вон какие ряхи себе наели. И знать не знаете, где находятся люди, которых вы поставлены охранять! Может, вы думаете, что этот лагерь — курорт? Нет, черт возьми, это трудовой лагерь! Здесь учат лентяев работать! Работать! А если они не будут работать, мы закроем лагерь! Закроем, и пусть все эти бродяги убираются. Катитесь к чертовой матери, чтоб

духу вашего здесь не было! Довольно мы тут с вами возились! — Он повернулся к выстроенным в ряд мужчинам. — Я о вас говорю, неблагодарные твари, слышите — о вас! — орал он. — Разве вы цените добро? Кто дает вам кров, когда вам негде жить? Кто дает вам палатки и одеяла, когда вы дрожите от холода? Кто ухаживает за вами, кто заботится о вас, кто каждый день привозит вам еду? И чем вы отплатили нам? Все, конец, можете теперь подыхать с голода!

Он тяжело перевел дух. Из-за его плеча, словно огненный шар, появилось солнце.

— Слышали, что я сказал? — снова закричал он. — Не слышали — повторю! Захотели войны — будет вам война! Теперь вас будут охранять мои люди, эти дерьмовые солдаты ни хрена не стоят, я поставлю моих людей охранять вас, запру ворота, и если кто-нибудь из вас выйдет за ограду — мужчина, ребенок или женщина, не важно, — они будут стрелять без предупреждения, таков приказ! Вы выходите из лагеря только на работу. Никаких гостей, никаких прогулок, никаких пикников. Утром и вечером проверка, всех присутствующих отмечают. Довольно мы с вами нянчились. А этих обезьян я запру вместе с вами! — Он вскинул руку и театральным жестом

указал на двух охранников, которые стояли все так же навытяжку. — Пусть знают, кто здесь хозяин! Вы, двое! Я давно за вами слежу! Думаете, я не знаю, какую райскую жизнь вы себе здесь устроили? Путаетесь с бабами вместо того, чтобы следить за порядком! Мне все известно!.. — Тут он совсем разъярился: бросился к караулке, ворвался в нее и через минуту снова показался в дверях с прижатым к животу маленьким белым эмалированным холодильником. Лицо его от напряжения налилось кровью, берет свалился. Он шагнул за порог, поднял холодильник сколько хватило сил и швырнул с крыльца. Холодильник хрястнулся о землю, из мотора потекла темная маслянистая жидкость.

— Видели? — просипел он и пинком перевернул холодильник набок. Дверца открылась, вывалились бутылка лимонада, пачка маргарина, кольцо колбасы, несколько персиков и луковиц, пластмассовая фляга для воды, пять бутылок пива. — Вот, глядите! — торжествующе просипел он.

Всё утро они просидели на солнце, а двое молодых полицейских и их помощник в синей майке с надписью „Штат Сан-Хосе“ на груди и на спине медленно и методично обыскивали разгромлен-

ный лагерь. Спрятанное в бараках вино выливали на землю. Сложили в кучу все найденное оружие: kierie[1], железный ломик, кусок трубы, ножницы для стрижки овец, несколько складных ножей. В полдень объявили, что обыск закончен. Полицейские снова загнали людей в лагерь, заперли ворота и уехали, оставив двоих охранять Яккалсдриф. Эти двое полицейских сели под тент и до вечера наблюдали, как заключенные роются в обломках, пытаясь отыскать свои пожитки.

Потом они узнали от одного из новых охранников, из-за чего на них обрушилась ярость Остхёйзека. Ночью в сварочной мастерской на Хай-стрит произошел взрыв и начался пожар, который перекинулся на соседний дом, а с него на городской краеведческий музей. Крытый соломой музей с деревянным потолком и полами сгорел за час, хотя часть старинного сельскохозяйственного инвентаря, который был выставлен во дворе, удалось спасти. Осматривая при свете карманных фонариков дымящиеся развалины сварочной мастерской, полицейские обнаружили, что дверь взломана; а когда один из водителей вспомнил, что вечером остановил у поворота

**[1] Примечания: 1**
Палка *(африкаанс).*

к Яккалсдрифу троих мужчин на двух велосипедах (он предупредил их, что скоро наступит комендантский час, они могут оказаться нарушителями, но они ответили, что успеют доехать до дома, они живут в Ондердорпе, и полицейский о них забыл), то всем стало ясно, что и взрыв, и поджог дело рук обитателей лагеря.

К. без труда нашел те несколько вещей, что ему принадлежали, но другие, у которых были здесь сундуки и чемоданы, с убитым видом бродили по лагерю, отыскивая свое добро. Ссорились из-за такой мелочи, как пластмассовая гребенка. К. ушел от них.

Была среда, но суп им не привезли. Несколько женщин подошли к воротам и попросили у полицейских позволения приготовить еду в лагерной кухне, но полицейские заявили, что у них нет ключа. Кто-то бросил камень в кухонное окно — наверное, дети.

Настало утро, но грузовик, который возил людей на работу, тоже не приехал. Часов в десять охранники-полицейские сменились.

— Решили уморить нас голодом, — громко сказал Роберт, чтобы все вокруг слышали. — Пожар для них только предлог. Они это давно задумали — запереть нас и ждать, пока мы все перемрем.

К. стоял у колючей проволоки, глядел на раскинувшийся перед ним вельд и думал над словами Роберта. Ему уже не казалось странным, что лагерь — это место, куда людей сгоняют, чтобы о них забыть. Не случайно же лагерь находится так далеко от города и дальше дороги нет. Но он все еще не мог поверить, что двое молодых полицейских будут сидеть на крыльце караулки и спокойно наблюдать, как на их глазах умирают люди, что они будут курить, зевать, уходить в помещение вздремнуть. Когда человек умирает, остается труп. Пусть даже он умер от голода, труп все равно остается. Вид трупа может быть так же оскорбителен, как вид живого человека, если только вид живого человека вообще может быть оскорбителен. Если эти люди и в самом деле хотят от нас избавиться, думал он, с любопытством наблюдая, как эта мысль растет и развивается в его мозгу, словно растение, если они в самом деле хотят забыть о нас навсегда, пусть дадут нам кирки и лопаты и прикажут рыть огромную яму посреди лагеря, а когда мы из последних сил ее выроем, пусть скомандуют нам спуститься в нее и лечь; мы ляжем, все до единого, а они разрушат бараки, сорвут палатки, снесут забор и бросят все это на нас, бросят все, что принадлежало нам в

этой жизни, и потом засыплют землей, а засыпав, разровняют землю. Тогда, может быть, им когда-нибудь удастся забыть нас. Но кто может вырыть такую большую могилу? Нас всего тридцать мужчин, остальные женщины, старики и дети, все едва держатся на ногах от голода, и у нас нет ничего, кроме кирок и лопат, а земля здесь твердая как камень.

Он удивился этим мыслям, они больше подходили Роберту, чем ему. Может быть, они пришли в голову Роберту, а он просто отозвался на них, или можно сказать по-другому: эти мысли Роберта оказались семенем, которое запало ему в душу, проросло и овладело им. Ответа он не знал.

А в понедельник утром как всегда приехал армейский грузовик и повез их на работу. Перед погрузкой охранники проверили их имена по списку, в остальном все было как обычно. Их развезли по разным фермам согласно разнарядке, которая была у водителя. К. с двумя товарищами досталось чинить ограду. Работа подвигалась медленно, потому что проволока была старая, короткие куски то и дело приходилось скручивать, они путались. К. нравились неспешность и однообразие работы. Приезжая утром и уезжая вечером, они провели на этой ферме неделю, и

за день им иной раз удавалось протянуть всего двести — триста метров. Однажды хозяин отвел К. в сторону, угостил сигаретой и похвалил его работу.

— Ловко у тебя получается, — сказал он. — Надо тебе этим ремеслом всерьез заняться. Что там ни творись в мире, а хорошие мастера ставить ограды всегда нужны. Все проще простого: если разводишь скот, без оград не обойтись. — Он тоже любит работать с проволокой, продолжал он. Обидно, что он дал им такое старье, но где сейчас взять новые материалы? В конце недели он заплатил им всем сколько полагалось по расценкам, но кроме денег дал еще фруктов и маиса и старую одежду. К. достался ношеный свитер, двое других получили картонный ящик с платьями для своих жен и детей. По дороге в лагерь один из товарищей К. стал рыться в ящике и вытащил ситцевые трусы большого размера, поднял их двумя пальцами и, сморщив нос, выпустил. Ветер подхватил трусы и унес. Тогда он вывалил на землю все, что было в ящике.

Вечером в лагере пили вино и разгорелась драка. Когда К. подошел посмотреть, он увидел в свете костра того, прежнего охранника, который говорил, что у него диабет, он стоял, прижав руки

к бедру, и кричал:

— Помогите, помогите! — Руки были в крови, брючина промокла. — Что со мной будет, что со мной будет? — повторял он. Между пальцами сочилась кровь, густая как нефть. Со всех концов лагеря сбегались люди поглядеть, что случилось.

К. бросился к воротам, где стояли двое полицейских и с любопытством наблюдали за суматохой в лагере.

— Его пырнули ножом, — задыхаясь, проговорил К. — Он истекает кровью. Его надо в больницу. Полицейские переглянулись.

— Несите его сюда, — сказал один. — Там поглядим.

К. побежал к костру. Раненый сидел на земле, спустив брюки, из раны на бедре хлестала кровь, он зажимал ее руками и что-то безостановочно говорил.

— Давайте отнесем его к воротам! — крикнул К., впервые за все время, что он попал в лагерь, и люди с любопытством посмотрели на него. — Несите его к воротам, его отвезут в больницу! — Сидящий на земле раненый радостно закивал.

— Да, да, отвезите меня в больницу! — крикнул он. — Кровь никак не останавливается!

К нему протолкался его товарищ, другой быв-

ший охранник, в руках у него было полотенце, он стал завязывать рану. Кто-то толкнул К. локтем в бок, это был парень из другого барака.

— Тебе-то что? Пусть сами разбираются, — сказал он. Толпа начала расходиться, остались только дети да К., они стояли и смотрели, как в колеблющемся свете костра молодой охранник пытается перевязать ногу товарищу.

К. так никогда и не узнал, кто пырнул ножом бывшего охранника, не узнал, удалось его спасти или нет, потому что это была его последняя ночь в лагере. Все легли спать, а он потихоньку связал свои вещи в верное пальто, выскользнул из барака и, притаившись за цистерной, стал ждать, и вот наконец костер догорел дотла, стихли все звуки, только шумел гуляющий по вельду ветер. От долгого сидения тело у него затекло, он весь дрожал, но все равно он решил подождать еще час-полтора. Потом снял башмаки, связал шнурками и повесил себе на шею, неслышно подошел к забору позади уборных, перебросил узел и полез наверх. Когда он заносил ногу на ту сторону, брюки зацепились за колючую проволоку, и он замер на миг — идеальная мишень на фоне синего с серебром неба; но наконец освободился и, спустившись вниз, неслышно зашагал по земле,

которая — вот странно — ничем не отличалась от земли по ту сторону забора.

Он шел всю ночь, не чувствуя усталости, и порой его охватывала дрожь счастья от того, что он свободен. Когда начало светать, он свернул с дороги в вельд. Людей он не встречал, но иногда из зарослей выскакивала, пугая его, антилопа и мчалась к отрогам холмов. Белый сухой ковыль волновался под ветром, небо было синее, тело его переполняли силы. Сделав большой круг, он обошел одну ферму, потом другую. Вокруг было так пустынно, что невольно верилось — до него ничья нога не ходила по этой земле, не наступала на этот вот камешек. Но каждые полторы-две мили ему встречался забор, напоминая, что он беглец и идет по земле, которая кому-то принадлежит. Пролезая сквозь ряды проволоки, он с профессиональным удовольствием отмечал, как туго она натянута, — тронешь, и сразу гудит. Но он не мог себе представить, что сам он всю жизнь вгоняет в землю столбы, ставит заборы, делит землю на клочки. Этим должен заниматься кто-то тяжелый, оставляющий после себя следы, а он — он песчинка на поверхности земли, погруженной в такой глубокий сон, что ей не почувствовать, как по ней бегут ножки муравья, как ее трогает

хоботок бабочки, как ее заметает пыль.

Он стал подниматься на последний пригорок, и сердце его гулко заколотилось. Сверху он увидел дом в долине, сначала появилась крыша и полуразрушенный щипец, потом беленые стены — все было как раньше. Теперь уж можно не сомневаться, подумал он, теперь уж нет сомнений, что я пережил последнего из рода Висаги; теперь я точно знаю, что, пока я жил в горах, питаясь воздухом, и потом, когда меня в лагере пожирало время, дни для этого паренька тянулись так же медленно, как для меня, сыт ли он был или голодал, спал ли в своем убежище или бодрствовал.

Задняя дверь была не заперта. К. распахнул верхнюю створку, и чуть ли не на голову ему прыгнул кот — огромный черно-рыжий котище, и сразу же сиганул за угол дома. К. раньше никогда не видел на ферме котов.

В доме была духота, пахло пылью, протухшим салом и невыделанными кожами. Он двинулся к кухне, и запах усилился. Возле двери он в нерешительности остановился. Подумал: еще не поздно замести следы и незаметно исчезнуть. Зачем бы я ни вернулся, я не хочу жить так, как жил здесь род Висаги, не хочу спать там, где они спали, сидеть на их веранде перед домом и смотреть на

их землю. Если люди бросили этот дом и в нем поселились духи всех Висаги, которые когда-либо жили на земле. — пусть, мне все равно. Не затем я сюда пришел, чтобы жить в этом доме.

Кухня, в которую пробивался сквозь щель в крыше солнечный луч, была пуста; запах шел из кладовой, и, привыкнув к темноте, К. различил там висящую на крюке тушу барана или козы. От туши остались лишь кости да высохшая серая кожа, но все равно зеленые мухи с жужжаньем роились вокруг нее.

Он вышел из кухни и пошел по дому, ища в полумраке следы, которые мог оставить последний из рода Висаги, или хотя бы угадать, где он прячется. Но нигде ничего. Полы покрывал свежий слой пыли. На чердачной двери висел замок. Вся мебель осталась на местах, никаких признаков того, что здесь кто-то жил, не было. Он стоял посреди столовой и, затаив дыхание, слушал — не раздастся ли сверху или снизу легчайший шорох, но если внук Висаги вообще был жив и прятался здесь, значит, его сердце билось в такт с сердцем К.

Он вышел на солнечный свет и зашагал к водоему и к тому полю, на котором когда-то похоронил прах матери. Он узнавал каждый камень

на пути, каждый куст. Здесь, возле водоема, он почувствовал то, чего никогда не чувствовал в доме, — что он дома. Он лег, подложив под голову свернутое пальто, и стал смотреть на плывущее над ним небо. Я хочу жить здесь, думал он, хочу жить здесь всегда, на этой земле, где жили моя мать и моя бабушка. Больше мне ничего не надо. Но в такое время, как наше, человек, если он вообще хочет жить, должен жить как зверь. Он не может жить в доме с освещенными окнами. Он должен жить в норе и днем прятаться. Человек должен жить, не оставляя никаких следов своего существования. Вот до чего нас довели.

Воды в водоеме не было, трава, которая когда-то зеленела вокруг него, пожухла, высохла, стала ломкой. Словно он никогда и не сажал здесь тыквы и маис. Вскопанный им когда-то клочок земли буйно зарос сорняками.

Он освободил колесо насоса. Оно со скрипом дернулось, качнулось и начало вращаться. Поршень опустился, поднялся. Потекла вода, сначала ржаво-бурая, потом светлее, чище. Все было как раньше. Он подставил руку под струю и почувствовал, с какой силой она бьет в ладонь, тогда он спустился в водоем и встал под воду, подставил ей лицо, точно цветок, и пил, и впитывал ее всем

телом, и не мог насытиться.

Он лег спать на траве, и ему приснился сон, от которого он проснулся: в темноте под полом, придавленный тяжестью массивного шкафа, окутанный паутиной, лежит, скорчившись, внук Висаги, он что-то кричит, о чем-то просит, умоляет, требует, но К. не может разобрать его слов, не может расслышать, понять. Он сел, чувствуя, что все тело затекло, что он до предела измучен. „Зачем он крадет у меня первый мой день здесь! — простонал он про себя. — Не хочу быть ему нянькой, не за тем я сюда пришел! Жил же он один все эти месяцы, пусть и дальше заботится о себе сам!“ Он завернулся в черное пальто и, стиснув зубы, стал ждать рассвета. Скорее бы начать копать землю и сажать семена, сколько он об этом мечтал, вот только надо сначала устроить себе жилище.

Утром он принялся шаг за шагом исследовать вельд, обошел все идущие от холмов овражки и вырытые дождем канавы, осмотрел все трещины в скалах. Ярдах в трехстах от водоема он нашел в склоне холма два обращенных друг к другу свеса, округлых, точно женская грудь. Под ними было углубление около ярда высотой и ярда три-четыре в глубину. И стены, и дно углубления были из

темно-синего мелкого гравия, стены можно было расширить. Именно то, что нужно, решил К. Он взял в сарае возле дома свои инструменты — лопату и кирку. Снял с курятника лист рифленого железа. С трудом освободил от спутанной проволоки три столба разрушенного забора, который окружал одичавший сад. Отнес все к водоему и принялся за дело.

Сначала он расширил нижнюю часть углубления и разровнял дно. Другой, узкий конец он завалил грудой камней. Потом положил три столба поверх обращенных друг к другу свесов и накрыл их листом железа, а лист прижал обломками скалы. Получилась то ли пещера, то ли нора глубиной около пяти футов. Но когда он отошел к водоему оглядеть свою работу, он сразу же увидел, какой темной дырой зияет вход. И весь остаток дня он придумывал, как бы ее замаскировать. Стемнело, и он с удивлением вспомнил, что уже два дня ничего не ел.

Утром он приволок несколько мешков речного песку и насыпал на пол. Отбил от слоистых скал несколько кусков и заложил ими вход в пещеру, оставив лишь небольшой лаз внизу. Потом замесил глину пополам с высохшей травой и замазал щели между стенами и крышей. На крышу насы-

пал слой гравия. Весь день он не ел и совсем не чувствовал голода, но заметил, что работать стал медленнее, а порой просто стоит или сидит на корточках, и мысли его витают неизвестно где.

Залепляя щели и разравнивая глину, он вдруг подумал, что первый же ливень уничтожит весь его труд, ведь поток воды помчится по расщелине, в которой он устроил свой дом. Надо было вымостить дно камнями, а потом уже сыпать песок, подумал он, и карниз надо сделать, а он не сообразил. Но потом пришла другая мысль: разве я строю этот дом для своих детей и внуков? Мне ведь нужен просто кров, крыша над головой, убежище, чтобы я мог прожить в нем сколько надо и уйти, не привязавшись к нему сердцем. И если полицейские когда-нибудь найдут его жилище или то, что от него осталось, если они при этом покачают головой и скажут: „Что за мерзкое логово! Человеку свойственно гордиться своим трудом, но разве им это понять?“ — пусть, ему все равно.

В сарае он нашел несколько тыквенных и дынных семян. На четвертый день после возвращения К. начал сажать их. Среди ковыля, который волновался над кладбищем его первого огорода, он выполол и вскопал несколько

небольших клочков земли и посадил в каждый по семечку. Решил, что поливать весь огород нельзя, трава зазеленеет и выдаст его. И он стал поливать каждое семечко отдельно, нося воду из водоема в старой банке из-под краски. Больше дел у него не было, оставалось только ждать, когда семена взойдут, если только они не потеряли всхожесть. Он лежал в пещере и думал об этих своих бедных детях, которые с таким трудом пробиваются сквозь темную землю к солнцу. Одного он опасался: лето близится к концу, вдруг тыквы не успеют вызреть?

Он выхаживал растения, любовался ими и ждал, когда земля принесет плоды. Голода он не ощущал и даже почти забыл, что это за ощущение. Иногда он ел, если удавалось что-то найти, но лишь потому, что все еще верил: живое существо должно есть, иначе умрет. Ему было все равно, что есть. У еды вообще не было вкуса или был вкус пыли.

„Но вот когда пищу даст эта земля, — говорил он себе, — ее я буду есть с удовольствием, она будет вкусная“.

После гор и лагерной жизни от него остались лишь кожа да кости, обтрепавшаяся одежда висела на нем как мешок. И все равно, когда он ходил

по своему огороду, его переполняла радость, что он жив. Ступал он легко, ноги едва касались земли. Казалось, он вот-вот взлетит. Казалось, человек может жить в своей телесной оболочке и в то же время быть духом.

Он снова начал есть насекомых. Время сейчас изливалось на него нескончаемым потоком, и он мог целое утро лежать на животе возле муравейника, доставал травинкой муравьиные яйца и слизывал их одно за другим. Или сдирал кору с высохших деревьев и отыскивал личинки жуков. Ловил курткой стрекоз, отрывал им лапки, головы и крылья, разминал туловища и сушил на солнце.

Ел он и коренья. Отравиться он не боялся, он чутьем знал, какая горечь ядовита, а какая нет, как будто он когда-то раньше был животным и это знание растений в нем сохранилось.

Его убежище было всего лишь в миле от дороги, которая шла мимо фермы и, описав большую петлю, соединялась с проселком, ведущим в глубь Мордепарсваллей. Как ни мало было движения на дороге, забывать об опасности не стоило. Не раз, услышав шум приближающейся машины. К. пригибался к земле и затаивался. А однажды, бредя по руслу реки, он случайно поднял глаза и

увидел ярдах в двухстах тележку, ее тащил старик, рядом с ним кто-то шел — то ли женщина, то ли ребенок. Видели они его или нет? Боясь шевельнуться и привлечь к себе внимание, он стоял как вкопанный на виду у всех, кто мог оказаться поблизости, и смотрел на тележку, а она медленно катилась по дороге и наконец скрылась за холмом. Эта необходимость быть все время настороже угнетала; угнетало и то, что нельзя брать воду для огорода днем. Никто не должен видеть, как крутится колесо насоса, все должны считать, что водоем заброшен, и потому он решался пускать колесо только ночью, при лунном свете, или в крайнем случае в поздних сумерках, накачивал немного воды и нес поливать свои растения.

Раза два он увидел на влажной земле отпечатки козлиных копыт, но не придал этому никакого значения. А потом ночью его разбудило фырканье и топот копыт. Он выполз из своего жилища и сначала услышал их запах, а потом увидел их самих — коз и козлов, которые, он решил, навсегда ушли из этих мест, когда вода в водоеме высохла. Он бросился к ним, спотыкаясь, в ярости крича, кидал в них камнями, голова его была затуманена сном, но он должен был во что бы то ни стало спасти свой огород, и вдруг он упал,

и в ладонь ему вонзилась колючка. Всю ночь он охранял свои посадки. На рассвете козы показались снова, встали на пригорке по двое-трое и ждали, когда он уйдет, а он весь день караулил свой клочок земли, и когда они приближались, прогонял их камнями.

Из-за этих-то одичавших коз, которые не только угрожали его посадкам, но и могли выдать их людям, он решил, что теперь будет спать днем, а ночью охранять свою землю и ухаживать за растениями. Сначала ему удавалось работать только в те ночи, когда светила луна: в густой безлунной черноте он не мог сделать ни шага и только вытягивал перед собой руки, боясь наткнуться на призраки — ему казалось, они окружают его со всех сторон. Но постепенно он освоился в темноте и, точно слепой, шаря впереди себя палкой, двигался от своего жилища к огороду по тропе, которую успел протоптать, пускал колесо и открывал кран, потом наполнял водой банку и, раздвинув траву и найдя в ней свои растения, поливал их одно за другим. Скоро он перестал бояться ночи. Мало того, проснувшись иногда днем; и выглянув наружу, он жмурился от пронзительного света и снова забивался в глубь своего логова, и в закрытых глазах стоял яркий зеленый

огонь.

Лето кончалось, прошло уже больше месяца, как он убежал из Яккалсдрифа. Хозяйского внука он не искал и решил, что, пожалуй, не будет искать. Он, старался не думать о нем, но иногда все-таки ему приходило в голову, а вдруг парнишка вырыл себе где-нибудь землянку и так же, как и он, живет поблизости от фермы в вельде, ловит и ест ящериц, пьет росу и ждет, чтобы армия его забыла… Да нет, вряд ли.

Ферму он обходил стороной, точно чумное кладбище, заглядывал туда, только если что-нибудь было нужно. А нужны были какие-то приспособления, чтобы разводить огонь, и ему повезло — в ящике со старыми сломанными игрушками он нашел красный пластмассовый телескоп, одна из его линз достаточно хорошо фокусировала солнечные лучи, и сухая трава загоралась. В сарае лежала шкура антилопы, он нарезал из нее несколько полосок и смастерил рогатку взамен потерянной.

Многое могло бы ему пригодиться — и рашпер, и кастрюля, и складной стул, и большие куски поролона, и мешки. Он разбирал сваленные в сарае вещи и думал, сколько тут всего нужного и полезного. Но он боялся перенести в свой зем-

ляной дом вещи хозяев, вдруг они накликают на него беду, какая случилась с Висаги? Устроить себе новый дом возле водоема, как бы бросив вызов старому, было бы тягчайшей ошибкой. Даже инструменты, которыми он работает, должны быть сделаны из дерева, кожи и жил, из тех материалов, которые потом съедят термиты.

К. стоял, прислонившись к насосу, и чувствовал, как корпус насоса вздрагивает всякий раз, когда поршень опускается вниз до упора, а над его головой поворачивалось в темноте на смазанных подшипниках большое колесо. Какое счастье, что у меня нет детей, думал он, какое счастье, что я не хочу быть отцом. Я никогда не хотел стать отцом. Что бы я стал делать здесь, в глуши, с ребенком, ведь ему нужно молоко, нужна одежда и друзья, он должен ходить в школу. Я не смог бы выполнить по отношению к нему свой долг, я был бы никудышный отец. И как же просто жить изо дня в день, плыть по течению времени. Я один из немногих, кому повезло, меня не призвали в армию. Ему вспомнился лагерь Яккалсдриф, взрослые с детьми за колючей проволокой — со своими собственными детьми или с племянниками, внучатыми племянниками, вспомнилась земля, так плотно утоптанная их

ногами, так беспощадно выжженная солнцем, что никогда уже больше на ней ничего не будет расти. Прах моей матери я принес сюда, домой, думал он, а отцом моим был „Нореииус“. Отцом моим был список запретов, приколотый к двери нашей общей спальни, в нем было двадцать одно правило, и первое из них гласило: „В спальне всегда надлежит соблюдать тишину“, и еще моим отцом был учитель по труду, у него не хватало нескольких пальцев на руке, но он больно выкручивал мне ухо, если деревяшка, которую я точил, получалась неровной, и еще моим отцом были воскресные утра, когда мы надевали рубашки и шорты цвета хаки, черные носки и башмаки и шли парами в церковь на Папегай-стрит получить отпущение грехов. Вот кто был моим отцом, а мать умерла и еще не воскресла. И потому хорошо, что я, тот, кому нечего передать людям, живу здесь, вдали от всех.

За тот месяц, что К. прожил на ферме, он не видел, чтобы сюда кто-нибудь приходил. В доме на полу лежали лишь его собственные следы на слое пыли да следы того кота, он появлялся и исчезал, когда вздумается. Но однажды, проходя на рассвете мимо дома, он вдруг в ужасе застыл: всегда закрытая парадная дверь была приотворе-

на. Его отделяло от двери каких-нибудь тридцать шагов, и он чувствовал себя беспомощным, как крот на солнечном свету. Неслышно ступая, он прокрался к речному руслу и потом забрался в свое убежище.

Целую неделю он не приближался к дому, выползал только ночью и шел ухаживать за своим огородом, он боялся, что из-под ноги вырвется камешек и шум разнесется по вельду и выдаст его. Большие сочные листья тыкв ярко зеленели — ясно, что кто-то за ними ухаживает, и он старательно замаскировал плети травой, подумал даже — не оборвать ли их. Спать он не мог, но все равно лежал на своей травяной подстилке под раскаленной железной крышей и все слушал, не раздадутся ли какие-нибудь звуки, означающие, что его обнаружили.

Но иногда эти страхи казались ему глупыми, он ясно сознавал, что, оторвавшись от людей, стал пугливым, как мышь. Почему, едва увидев открытую дверь, он решил, что это вернулись хозяева или что полиция выследила его и теперь отправит в лагерь Брандвлей, одно название которого наводит на всех ужас? Сотни тысяч людей в этой стране бегут сейчас от войны и день за днем пробираются как муравьи по ее необъятным

пространствам, кто-то из них забрел в пустой дом в этой глуши, зачем же К. бояться этих скитальцев? Уж скорее они (К. ясно представлял себе мужчину, который с трудом толкает перед собой нагруженную скарбом тележку, за ним плетется жена и тянет за руку ребенка, на тележке сидит еще один, прижимая к себе мяукающего котенка, все смертельно устали, ветер швыряет им в лицо пыль, гонит по небу серые тучи), уж скорее они испугаются его, когда он, одичавший, исхудалый, в лохмотьях появится из-под земли в сумерках вместе с летучими мышами.

Но потом приходили другие мысли: а если он ошибается, если это солдаты-дезертиры или полицейские, которые в свой выходной приехали поохотиться на диких коз, дюжие, матерые, они со смеху помрут над моими жалкими уловками, над спрятанными в траве тыквами, над замазанным глиной жилищем, они изобьют меня ногами в башмаках, потом прикажут встать и сделают своим слугой, заставят рубить для них дрова, носить воду и подгонять под их выстрелы коз, есть, сидя за кустом, требуху, пока они жарят на вертеле мясо. Нет, чем прислуживать им, лучше день и ночь прятаться, лучше зарыться в землю и таиться там. (А может, им в голову не придет

сделать меня своим слугой. Увидев одичавшего оборванца, который приближается к ним по вельду, они скорее всего начнут спорить, кто попадет из пистолета в кокарду на его берете.)

Шли дни, но никто не появлялся. Светило солнце, с ветки на ветку перелетали птицы, великое молчание стояло над землей, и постепенно К. успокоился. Весь день он пролежал в своем убежище, наблюдая издали за домом, солнце медленно описывало на небе дугу — слева направо, а тени ползли по крыльцу справа налево. И дверь, темнеющая прямоугольником над ступеньками, — открыта она или закрыта? Издали не разобрать. Когда наступила ночь и взошла луна, он прокрался к заброшенному саду. В доме ни звука, свет нигде не горел. Он неслышно ступил на открытое пространство, прошел через двор к самому крыльцу и тут наконец увидел, что дверь открыта, — она все время и была открыта. Он поднялся на крыльцо и вошел в дом. Замер в непроглядной темноте прихожей и стал вслушиваться. Тишина.

Остаток ночи он провел в сарае, лег на пустой мешок и стал ждать. Он даже поспал немного, хотя давно отвык спать ночью. Утром он снова вошел в дом. Полы были чисто выметены, ка-

мин вычищен. Все еще слегка пахло дымом. В мусорной куче за сараем он обнаружил шесть новеньких блестящих банок из-под тушенки без этикеток.

Он вернулся в свою берлогу потрясенный и весь день прятался, он был уверен, что на ферме побывали солдаты и что приходили они пешком. Если они вылавливают прячущихся в горах повстанцев и дезертиров или просто патрулируют местность, почему они не приехали на джипах или на грузовиках?

Почему они таились, почему старались скрыть свои следы? Да мало ли почему, объяснений можно придумать десятки, сотни, разве ему понять их, но одно несомненно — он спасся от них только чудом.

В ту ночь он не качал воду, надеясь, что солнце и ветер высушат дно водоема. Он принес еще травы из вельда, много, несколько охапок, и замаскировал ею зеленеющие плети тыкв. Двигался он очень тихо и старался не дышать.

Прошел день, еще один. А вечером, когда солнце уже садилось и К. выполз из своего дома размяться, он увидел на равнине несколько движущихся фигур. К. как стоял, так и бросился на землю. Но успел разглядеть всадника на лошади, который

приближался к водоему, рядом шагал пеший; и еще он ясно разглядел за плечом у всадника дуло винтовки. Он как червяк пополз к своей норе с одной-единственной мыслью: „Пусть скорее наступит ночь, пусть земля поглотит меня и защитит“.

Добравшись до входа, он выглянул из-за валуна и еще раз посмотрел на них.

Всадник ехал не на лошади, а на осле, и осел был такой маленький, что ноги всадника чуть не волочились по земле. Был и еще один осел, но уже без всадника, он вез два огромных тюка, а впереди шагало восемь человек, девятый шел за навьюченным ослом. У всех были винтовки, некоторые несли рюкзаки. На одном были синие брюки, на другом желтые, все остальные — в маскировочной одежде.

К. тихо-тихо влез в свое убежище. Изнутри ему уже было не видать их, но в безветренной тишине он ясно слышал, как они спешились у водоема, громыхнула цепь — это они пустили колесо, он даже слышал, как они разговаривают. Кто-то влез по лесенке на высокий настил, потом спустился.

Стемнело, и теперь только по фырканью ослов можно было догадаться, как близко от него расположился отряд. В русле реки раздались глухие

удары топора, потом в слабом оранжевом свете их костра обозначился контур валуна возле входа в пещеру. Дохнул ветер; звякнула рукоятка, раздался стон железа, колесо сделало оборот и остановилось. „Почему нет воды?“ — ясно услышал он. Кто-то ответил, но его слов К. не разобрал, потом раздался взрыв смеха. Ветер снова поднялся, колесо со стоном повернулось, и К. почувствовал каждой клеточкой своего тела первый удар поршня глубоко в земле. Люди радостно зашумели. Потом ветер принес запах жарящегося мяса.

К. закрыл глаза и уткнулся лицом в ладони. Теперь он знал, что люди, которые разбили лагерь у водоема, а несколько дней назад ночевали в доме — вовсе не солдаты, а повстанцы, это они скрываются в горах и пускают под откос поезда, это они минируют шоссе, нападают на фермы и угоняют скот, отрезают города друг от друга, радио сообщает, что их убивают десятками, сотнями, а в газетах полно снимков, где они валяются на земле в луже крови. Так вот кто, оказывается, его ночные гости! А поглядишь со стороны — просто отдыхает после трудного матча футбольная команда: одиннадцать игроков, веселые, голодные, счастливые.

Сердце у него гулко стучало. Когда они утром двинутся в путь, думал он, я могу выйти из своего укрытия и пойти за ними, как ребенок за духовым оркестром. В конце концов они заметят меня, остановятся и спросят, чего мне надо. И я отвечу: „Дайте мне какую-нибудь поклажу, я понесу ее, чтобы вам было легче. Я буду рубить для вас дрова и разводить вечером костер“. Или я скажу им: „Обязательно приходите сюда, к этому водоему. В следующий раз я хорошо накормлю вас. Скоро у меня созреют тыквы и дыни, созреют персики, финики, груши, всего будет вдоволь“. И когда они в следующий раз отправятся в горы или куда они там ходят по ночам, они зайдут ко мне, и я накормлю их, а потом буду сидеть рядом с ними у костра и слушать, слушать. Они будут рассказывать совсем не о том, что я слышал в лагере, потому что в лагере живут неспособные сопротивляться — женщины и дети, старики, калеки, слепые, слабоумные, и рассказы их только об одном — как они страдали. А жизнь этих ребят полна удивительных, опасных приключений, вот эта операция удалась, а та не удалась, но они остались живы, они будут рассказывать свои истории всю жизнь, когда давно уже кончится война, и их будут слушать дети. а потом внуки.

К. потянул руки к башмакам проверить, завязаны ли шнурки, и в ту же минуту понял, что не сможет выползти из своей берлоги, не сможет встать в полный рост, шагнуть из темноты в свет их костра и назвать себя. Он знал, почему не сможет решиться: слишком много народу ушло воевать, говоря, что вот окончится война и тогда настанет время сажать сады, но так нельзя, кто-то должен остаться и сохранять сады или хотя бы доказать людям, что сады не должны погибнуть, ибо стоит этой связи оборваться, и земля ожесточится и забудет своих детей. Он не пойдет к ним.

Он никогда не встанет перед ними лицом к лицу, хотя и свято верит в эту истину, потому что их разделяет не просто несколько десятков ярдов между его убежищем и их костром. Всю жизнь, когда он пытался додумать свои мысли до конца, разверзалась пропасть, зияние, тьма, и его разум пасовал, и было бесполезно кидать в эту пропасть слова, они в ней тонули — пропасть не заполнялась. Кому бы он ни рассказывал о себе, в его рассказе всегда оставалось что-то недосказанное, он не мог поймать главное, вечно оно ускользало.

Он вспомнил приют и уроки арифметики. Перед ним задача, он, оцепенев от ужаса, глядит

на нее, учитель ходит по рядам и дожидается, когда ученики положат ручки и настанет время отделить козлищ от овец. Двенадцать человек съели шесть мешков картофеля. В каждом мешке было по шесть килограмм. Сколько пришлось на долю каждого? Он видит, как рука его выводит цифру „двенадцать“, потом выводит „шесть“, но он решительно не знает, что же с ними делать. Перечеркивает обе цифры и тупо глядит на слово „доля“. Оно не изменяется, не растворяется в воздухе, не раскрывает своей тайны. Я умру, думает он, и все равно не узнаю, сколько пришлось на долю каждого.

Почти всю ночь он пролежал без сна, слушая, как медленно наполняется водой водоем, иногда выглядывал в темноту, пытаясь разглядеть при свете звезд, улеглись ли ослы отдыхать или все еще пасутся на его огороде. Потом он, видно, все-таки задремал, потому что вдруг услышал под пригорком в траве тяжелые шаги, кто-то хлопал в ладоши, поднимая ослов, и небо, на котором синели горы, уже стало розовым. Ветер стих, и в утренней тишине он слышал, как звякнуло ведро, как кто-то мешает ложкой в кружке, как плещется вода.

„Если решаться, то сейчас, — подумал он, окон-

чательно проснувшись, — это моя последняя возможность“. Он вылез из пещеры, подполз на четвереньках к валуну и выглянул.

В водоеме купался какой-то мужчина. Он вынырнул из холодной ночной воды, вылез на бетонную стенку и, стоя, стал вытираться белым полотенцем, его мокрое тело блестело в первых мягких лучах утра. Двое навьючивали осла, один держал его за уздечку, другой перекинул ему через спину два тяжеленных парусиновых мешка и увязывал их ремнями, да еще какую-то длинную трубу, тоже завернутую в парусину.

Остальные были за стенкой водоема, то и дело мелькала чья-нибудь голова.

Тот человек, который вытирался, стоя на стенке, начал одеваться. Затем он нагнулся и поднял заслонку. Вода хлынула в канавы, которые К. вырыл еще в то, первое свое житье на ферме, чтобы поливать посадки.

Ошибка, подумал К., дурной знак.

Человек закрепил цепь колеса.

И отряд потянулся по вельду на восток, в сторону гор. Впереди трусил осел, второй замыкал группу, и вставшее из-за горизонта солнце било им прямо в лицо. К. все глядел и глядел им вслед из-за валуна, а их уже было трудно разглядеть в

желтой траве. Еще не поздно, думал он, можно броситься за ними и догнать. А когда они наконец скрылись из глаз, он встал и начал осматривать свой затопленный водой огород, на котором ночью паслись ослы. Огород был весь в следах копыт. Ослы не только съели часть растений, но и затоптали их. Длинные ветвистые плети, которые он так старательно маскировал травой, были раздавлены, листья свернулись и поникли; завязавшиеся плоды, зеленые и маленькие, чуть крупнее ореха, были съедены. Пропала половина урожая. Но это был единственный след, который оставил после себя отряд. Кострище они тщательно засыпали землей и галькой, он нашел его только потому, что оно еще не остыло. Вода из водоема давно вытекла; он опустил заслонку.

К. забрался на холм, в котором устроил свое жилище, лег на самом верху и стал глядеть на солнце. Никого не было видно. Отряд скрылся в предгорьях.

„Я точно мать, чьи дети покинули дом, — подумал он, — единственное, что мне осталось, — это прибрать разбросанные вещи и слушать тишину. Мне хотелось дать им вкусной хорошей еды. А я лишь накормил их ослов, которые обошлись бы и травой“. Он заполз в свое убежище, бессиль-

но растянулся на подстилке из травы и закрыл глаза.

Разбудило его стрекотание вертолета. Вертолет летел над руслом реки. Минут через пятнадцать он вернулся и проследовал дальше, на север.

Они увидели, что землю поливали, подумал он. Увидели, что трава зазеленела, увидели яркие плети тыкв, сочные листья махали им, точно флаги. Все это они увидели сверху, увидели то, что создано самой природой, чтобы расти на земле. Надо мне было разводить лук, подумал он.

Еще не поздно убежать в горы, найти там пещеру и прятаться. Но он не мог стряхнуть вялое оцепенение. Пусть приходят, думал он, мне вес равно. И снова заснул.

С неделю К. вел себя еще более осторожно. Днем он совсем не выходил из своего убежища, а ночью поливал оставшиеся в живых растения так скупо, что листья стали никнуть, а усики повяли. Истоптанные плети он вырвал. Если из каждого цветка завяжется плод, говорил он себе, осматривая то, что осталось от огорода, у меня вызреют штук сорок тыкв, не больше; а если они опять придут сюда с ослами, то не видать мне ни одной. Он-то мечтал о тучном урожае, а теперь хоть бы несколько плодов созрели и дали семена.

Пройдет год, утешал он себя, снова наступит лето, и он начнет все заново.

Лето кончалось. Тяжкая духота навалилась на землю, плотные облака заволокли небо, и наконец собралась гроза. По овражкам хлынула вода, жилище К. затопило. Вымокший насквозь, он спрятался за стену водоема с подветренной стороны: точно улитка, выползшая из своей раковины, подумалось ему. Часа через полтора ливень кончился, запели птицы, на западе заиграла радуга. Он вытащил из дома травяную подстилку и стал ждать, когда поток в расщелине наконец иссякнет. Потом замесил глину и снова принялся обмазывать стены и крышу.

Ослы больше не появлялись, отряд повстанцев не возвращался, вертолет тоже ни разу не пролетал. Тыквы росли. Ночью К. крался к своему огороду и гладил крепкие упругие плоды. От ночи к ночи они все больше наливались. И в душе у него снова появилась надежда, что все будет хорошо, и он не гнал эту надежду. Иногда он просыпался днем и, высунув голову, оглядывал свой огород: то там, то здесь, укрытая травой, неярко поблескивала зреющая тыква.

Среди семян, которые он посадил, оказалось одно дынное. И вот теперь на краю огорода созре-

вали две светло-зеленые дыни, и он любил их еще нежнее, чем тыквы, они были словно две сестры среди веселого выводка братьев. Он подстелил под каждую подушку из травы, чтобы кожа не повредилась.

И вот наконец созрела первая тыква, её можно было снять. Она была самая крупная, росла в самой середине огорода и поспела раньше других — его дитя, его первенец. Кожура была мягкая, нож вошел в нее без усилия. Мякоть — ярко-оранжевая, хотя у самой кожуры все-таки осталась тонкая зеленая полоска. Он положил ломти тыквы на проволочную решетку, которую сам и смастерил, и стал печь на углях, а ночь сгущалась, и угли краснели все ярче и ярче. Воздух наполнился ароматом печеной тыквы. И он произнес слова молитвы, которой его когда-то научили, только обратил он ее не к небу, а к земле, на которой стоял на коленях: „Воистину благодарю тебя за то, что ты даруешь нам“.

Он стал поворачивать ломти тыквы двумя проволочками и вдруг почувствовал, что в сердце его хлынула благодарность. Именно та, о которой ему твердили в детстве, — его словно обдало чем-то теплым и радостным. „Ну вот, труд завершен, — сказал он себе. — Теперь я могу тихо

жить здесь всю жизнь, питаясь тем, что дала мне за мои труды земля. Я буду возделывать землю — больше мне ничего не надо“. Он поднес ко рту первый испеченный кусок тыквы. Хрустящая румяная корочка, под ней сочная, нежная мякоть. Он стал жевать ее, и на глазах у него выступили слезы радости. Никогда еще я не ел такой вкусной тыквы, думал он, за всю мою жизнь. В первый раз за все время, что он прожил здесь, на ферме, еда доставляла ему удовольствие. И какое! Он не мог остановиться. Снял решетку с углей и взял второй ломоть. Зубы впились сквозь поджаристую корочку в горячую тающую мякоть. Такую тыкву, подумал он, такую тыкву я согласен есть каждый день, и ничего-то мне больше не надо. А если бы ее еще немного посолить, немного посолить, смазать маслом, да еще посыпать сахаром и корицей! Он съел третий ломоть, четвертый, пятый, съел половину тыквы и наконец насытился и все время с восторгом вспоминал вкус соли, сливочного масла, сахара, корицы.

Да, тыквы поспевали, и тут возникли новые заботы. Плети-то ему удавалось маскировать травой, а вот тыквы скрыть было невозможно, они лежали в высокой, по колено, траве точно в ямках, — казалось, это стадо овец забрело сюда

и спит. Он пытался прикрыть тыквы, но ведь им был дорог каждый луч предосеннего солнца. По стеблям к ним еще текли соки, у некоторых тыкв бок еще был зеленоватый, но все равно надо было их собрать и унести, ничего другого не оставалось.

Дни становились короче, ночи холоднее. Иногда К. приходилось работать в своем черном пальто; спал он, засунув ноги в мешок, а руки прятал в коленях. Он спал все больше и больше. Закончив труды, он уже не сидел больше как раньше, не смотрел на звезды, не слушал голоса ночи, не гулял по вельду, а заползал в свою нору и засыпал мертвым сном. Спал все утро до полудня, потом грезил о чем-то в полудреме, не шевелясь, нежился в тепле, которое излучала крыша; а когда солнце садилось, вылезал наружу, потягивался, разминаясь, шел к берегу рубить дрова и рубил, пока не наступала ночь.

Он вырыл яму для костра, чтобы огня не было видно издали, соорудил трубу. Поев, закрывал яму двумя плоскими камнями и присыпал сверху землей. Угли внизу тлели целые сутки. В благодатном тепле вокруг неостывающей ямы развелось множество насекомых.

Он не знал, какой сейчас месяц, но по его под-

счетам выходило — апрель. Он не вел счет дням, не отмечал фазы луны. Ведь он не отверженный, его не сослали сюда отбывать наказание, он просто пришел сюда, к водоему, чтобы жить здесь.

Он до такой степени сроднился с сумерками и с темнотой, что дневной свет резал ему глаза. Раньше он ходил ночами по тропинкам, теперь они ему стали не нужны. Он не столько видел, сколько чувствовал кожей лица, давлением на глазные яблоки, что впереди какой-то предмет. Глаза его по большей части невидяще смотрели вдаль, точно он слепой. У него также необыкновенно обострилось обоняние. Его легкие наполнял чистый свежий запах воды, которую вынес на поверхность земли родник. Этот запах опьянял его, он дышал и не мог им надышаться. Он не знал названия кустарников, но легко отличал их по запаху листьев. И еще он по запаху угадывал приближение дождя.

В эти прощальные дни лета он особенно полюбил праздность, но это было совсем не то, что раньше, когда его заставляли гнуть спину и он тайком урывал несколько минут передышки, незаметно отдыхая на корточках возле клумбы с тяпкой в руках, — сейчас он просто отдался во власть времени, а время медленно и вязко текло

над землей от одного ее края до другого и омывало его тело, гладило грудь, живот, ласкало закрытые веки. Когда надо было сделать какую-нибудь работу, он не досадовал, но и не радовался: ему было все равно. Он мог целый день пролежать, разглядывая лист рифленого железа, служивший ему крышей, пятна ржавчины на нем; его мысли нигде не блуждали, он не видел ничего, кроме железа, фантазия не создавала никаких образов из сочетания цветов и линий: он был всего лишь он сам, ржавчина, всего лишь ржавчина, единственное, что двигалось, — это время, и оно несло его своим течением. Раз или два о себе напомнило другое время, то, в котором шла война, — высоко над головой со свистом пронеслись реактивные истребители. Но только и всего. Он жил за пределами календаря и отсчета часов, в благословенном, забытом всеми краю, и то ли бодрствовал, то ли спал. Как трутень, думал он, или ящерица, прячущаяся под камнем.

Полицейский капитан так тогда их и назвал в Яккалсдрифе: трутни, кричал он, вы паразитируете на чистом благоустроенном городе, объедаете его и ничего не даете взамен. Но сейчас, вяло вспоминая об этом в своем убежище, где он лежал без движения (что мне в конце концов до всего

этого?), он уже и сам не мог бы сказать, кто на ком паразитирует — лагерь на городе или город на лагере? Эхинококк пожирает овцу, но зачем овца глотает его личинку? А что, если нас миллионы, много миллионов, никто даже не знает сколько, нас согнали в лагеря, мы живем подаянием, тем, что дает земля, мы ловчим и изворачиваемся, забиваемся в щели, чтобы спрятаться от времени, мы таимся и не вывешиваем флаги: пусть нас никто не заметит — сколько же нас? Что, если паразитов гораздо больше, чем организмов, за счет которых они живут, это те, кто не трудится, и другие, тайные, паразиты в армии, в полиции, в школах, в конторах, на заводах, в сердце? Можно ли их называть паразитами? У этих паразитов тоже есть плоть и кровь, на них тоже можно паразитировать.

Лагерь ли паразитирует на городе или город на лагере — наверное, все зависит от того, кто громче кричит.

Думал он и о матери. Она просила его привезти ее домой, на родину, и он ее привез — если только прах можно назвать матерью. А что, если она родилась не на этой ферме? Где каменные стены амбара, о котором она рассказывала? Он заставил себя пойти днем на территорию усадьбы, осмот-

рел домишки на пригорке, прямоугольник голой земли возле них. „Если мать когда-то жила здесь, я это обязательно почувствую“, — внушал он себе. Он закрыл глаза и попытался представить в своем воображении глинобитные стены и крытые соломой крыши из ее рассказов, сад, где росли груши, кур, клюющих корм, который приносила им босоногая девочка. А за девочкой, на пороге, в полутьме стояла женщина, от которой родилась в этот мир его мать. Когда мать умирала в больнице, думал он, и знала, что конец ее близок, она искала взглядом не меня, а ту, что стояла за мной, — свою собственную мать или хотя бы ее призрак. Для меня она была старуха, но для самой себя оставалась ребенком, и она кричала, чтобы мать взяла ее за руку и помогла ей. А мать моей матери, в той тайной жизни, которая скрыта от нас, тоже была ребенком, девочкой. За мной стоит нескончаемая вереница детей.

А в самом ее конце одинокая фигура в сером балахоне, женщина, не рожденная никакой другой женщиной. Но когда он пытался вообразить ту тишину, в которой она жила, тишину времен до сотворения мира, голова его раскалывалась от напряжения.

Он почти все время спал, и на его плантацию

снова стали приходить пастись животные — на сей раз зайцы и маленькие серые антилопы. Если бы они просто объедали листья — бог с ними, но они отгрызали плети, лишая плод питающих его жизненных соков, и К. впадал в отчаяние и гнев. А вдруг они погубят две его драгоценные дыни? Он стал мастерить капкан из проволоки, трудился долго, но ничего не вышло. И тогда он улегся спать посреди своей плантации. Но полная луна не давала заснуть, он вздрагивал от каждого шороха, ноги заледенели. Огородить бы площадку возле водоема забором, думал он, забором из крепкой проволочной сетки, да еще врыть эту сетку на фут в землю, а то и глубже, чтобы даже нору в его огород было не прокопать.

Он все время чувствовал вкус крови во рту. Его измучил понос: когда он вставал, кружилась голова. Иногда ему казалось, что желудок его сжался, точно кулак. Он заставлял себя есть тыкву, даже когда не хотел, и боль слегка отпускала, но тяжесть оставалась. Хотел убить из рогатки птицу, но разучился стрелять, да и терпения не было. Он поймал ящерицу и съел.

Тыквы начали поспевать все разом, их плети пожелтели, пожухли. К. не подумал заранее, где будет хранить урожай. Он попробовал резать

тыквы тонкими ломтями и сушить на солнце, но они гнили, их облепляли муравьи. Он сложил все тридцать тыкв возле своего жилища, получилась пирамида, похожая на маяк. Зарывать тыквы в землю нельзя, их надо хранить в сухости и тепле, ведь они дети солнца. В конце концов он разложил их по одной вдоль берега в кустах и разузорил глиной кожуру, чтобы тыквы не бросались в глаза.

И вот наконец поспели дыни. Одну он съел сегодня, другую завтра, моля, чтобы они вернули ему здоровье. Ему показалось, что он чувствует себя лучше, хотя слабость не прошла. Мякоть у дынь была оранжевая, цвета речного песка, только ярче. Никогда в жизни он не ел таких сладких дынь. Какая часть этой благоуханной сладости была заложена в семени и какую дала земля? Он собрал все семена до единого и разложил сушить. Одно семя дало целую горсть: вот это и есть — дать обилие посеянному вами.

И наконец наступил день, когда К. даже не вышел из своего жилища. Проснулся он днем, есть не хотелось. Дул холодный ветер, никаких дел в огороде не было, все его летние и осенние труды были закончены. Он повернулся на другой бок и снова заснул. Проснулся уже на рассвете — вовсю

пели птицы.

Он совсем потерял счет времени. Иногда, просыпаясь, он видел, что сейчас день. Под старым черным пальто было душно, ноги в мешке казались чужими. Он подолгу лежал в тупом изнеможении, не в силах стряхнуть сон. Он чувствовал, что жизнь в теле замедляется. Ты так и дышать разучишься, говорил он себе, и все равно легкие его не наполнялись воздухом. Он поднимал руку, тяжелую как свинец, и клал на сердце: где-то далеко, словно в другом мире, что-то слабо сжималось и разжималось.

Шли дни, ночи, а он все спал, спал. Однажды ему приснилось, что его разбудил какой-то старик. Старик был в грязном тряпье, от него пахло табаком. Он тряс К. за плечо и кричал: „Убирайся с этой земли!“ К. хотел освободиться, но пальцы старика впились в него мертвой хваткой. „Не будет тебе здесь добра!“ — шипел он.

Снилась ему и мать. Они шли с ней по горам. Ноги у нее были распухшие, но она была молодая и красивая. Он широко размахивал руками, показывая от одного края земли до другого: его переполняли волнение и счастье. Рыжая земля, зеленеющие берега рек, нигде ни дорог, ни ферм, воздух неподвижен, тих. Радостно распахивая

руки, махая ими точно мельница крыльями, он чувствовал, что вот-вот оторвется от земли и его понесет над скалистым гребнем в огромное, полное воздуха пространство между небом и землей, но он не боялся, он знал, что умеет летать.

Иногда, просыпаясь, он и сам не мог бы сказать, сколько проспал, — день ли, неделю, месяц. „Наверное, что-то со мной неладное“, — думал он. Нужно поесть, внушал он себе, сделать над собой усилие и встать, принести тыкву. Но так и не вставал, он с наслаждением потягивался, зевал — ему было так хорошо, что ничего больше не хотелось, только лежать вот так и чувствовать пульсацию времени. Есть тоже не хотелось: жевать какую-то еду, глотать ее, проталкивать в желудок, зачем все это?

Но постепенно сон его стал уже не таким тяжелым, он просыпался чаще. Налетали образы, такие быстрые и бессвязные, что он не мог их ухватить. Он тревожно метался на своей подстилке, понимая, что нельзя ему все время пребывать в спячке, но не было сил встать. Начала болеть голова; он стискивал зубы, потому что каждое биение сердца остро пронзало мозг.

Пришла гроза. Пока гром перекатывался вдали. К. не обращал на него внимания. Но вот небо

раскололось прямо над ним, хлынул ливень. Сквозь щели жилища начала сочиться вода, по расщелине помчался поток, размыл глиняную стенку и затопил постель. К. сел, скорчившись под своей низкой крышей, ему негде было спрятаться. По полу его жилища мчался поток, а он сидел в уголке, закутавшись в промокшее пальто, и спал. Просыпался, снова засыпал.

Разбудил его свет дня. Он дрожал от холода. Небо было затянуто тучами, огня он развести не мог. Нет, так жить нельзя, подумал он. Прошел по своему огороду, мимо насоса. Все было как раньше, но он чувствовал себя здесь чужим, казалось даже, он не человек, а привидение. На земле стояли лужи, в первый раз за все время в реке появилась вода — несся мутный кипящий поток, широкий, ярдов в восемь — десять. На том берегу на сине-серой гальке что-то белело. Интересно, подумал он, неужели от дождя вырос такой большой гриб? И вдруг даже вздрогнул — никакой это не гриб, это тыква.

Дрожь все не унималась. От слабости он не мог поднять руку, ступал неуверенно, как старик. И вдруг почувствовал, что должен сесть, и сел на мокрую землю. Сколько дел ему предстоит, он их не осилит. „Не выспался я, — подумал он, — мне

бы еще поспать“. И поесть, наверное, надо, тогда перестанет плыть перед глазами, но при мысли о еде желудок свела судорога. Он заставил себя представить чай, чашку горячего сладкого чая, встал на четвереньки и напился из лужи.

Подняться он не смог, так его возле лужи и нашли. Он еще издали услышал шум моторов, но подумал, что это приближается гроза. Они подъехали к воротам усадьбы, и только тогда он их увидел и понял, кто они такие. Он поднялся на ноги, но голова у него закружилась, и он снова сел. Одна из машин остановилась возле дома, другая, „джип“, поехала прямо по вельду к нему. В ней сидело четверо. Он смотрел, как они приближаются; его охватила безнадежность.

Сначала они приняли его за обыкновенного бродягу, просто полиция еще не нашла его и не водворила в Яккалсдриф.

— Я живу в вельде, — сказал он, когда его начали расспрашивать, — я нигде не живу. — Ему пришлось опустить голову в колени: в черепе стучал молоток, рот наполнился вкусом желчи. Один из солдат взял его руку двумя пальцами и покачал. К. не отнял руки. Она казалась чужой, словно торчащая из туловища палка.

— Интересно, чем он питается? — спросил сол-

дат. — Мухами? Муравьями? Саранчой?

К. видел только их башмаки. Он закрыл глаза и словно бы перестал существовать. Потом его хлопнули по плечу и сунули что-то под нос — бутерброд, два толстых ломтя белого хлеба и между ними кусок колбасы. Он отпрянул и покачал головой.

— Ешь! — сказал его благодетель. — Набирайся сил!

Он взял бутерброд и откусил. Но едва только начал жевать, пустой желудок стало выворачивать. Свесив голову между колен, он выплюнул хлеб и колбасу и протянул им бутерброд.

— Да он больной, — произнес чей-то голос.

— Нализался как свинья, — сказал другой.

Но тут они увидели его дом, дождь смыл глину, которой он обмазал переднюю стенку, и голая каменная кладка резко бросалась в глаза. Сначала они, встав на четвереньки, по очереди заглядывали внутрь. Потом сняли крышу, и им открылось тщательно устроенное жилище, в углу лопата и топор, на полке, вырубленной в земляной стенке, — нож, ложка, тарелка, кружка, линза, на полу промокшая подстилка из травы.

Солдаты подняли К. и подтащили к его дому — никакой жалости к нему у них уже не чувство-

валось. По его лицу полились слезы.

— Твоя работа? — спросили они. Он кивнул. — Ты здесь один? — Он снова кивнул. Солдат, который держал его, резко заломил ему руку за спину. К. зашипел от боли. — Правду говори! — заорал солдат.

— Я сказал правду, — прошептал К.

Подъехал и грузовик; воздух наполнился громкими голосами, треском и воем рации; солдаты столпились вокруг К., разглядывали его, разглядывали жилище, которое он себе соорудил.

— Разойдись! — закричал один из них. — Обыскать все вокруг! Ищите тропинки, ямы, подземные ходы, склады! — На нем, как и на всех других, была маскировочная одежда, никаких знаков различия, по которым К. мог бы определить, что он командир. — Мы этот народ знаем, — продолжал он уже тише и ни к кому в особенности не обращаясь; глаза его беспокойно бегали. — Помните: вся земля, куда ни ступи, изрыта подземными ходами. Приедешь в такую вот глухомань и думаешь: ну, тут на десятки миль ни единой живой души. А чуть отвернулся — и они полезли из-под земли как тараканы. Спросите его, давно он здесь? — Повернулся к К. и рявкнул: — Эй, ты! Давно ты здесь?

— С прошлого года, — ответил К., сам не зная, удачно он соврал или нет.

— Ну и когда твои друзья вернутся? Когда ты их ждешь?

К. пожал плечами.

— Спроси его еще раз, — приказал офицер, отворачиваясь. — Спрашивай, пока не ответит. Пусть расскажет, когда его друзья вернутся. Пусть расскажет, когда они здесь были в последний раз. Может, он немой? Проверьте. Проверьте, идиот он или только прикидывается.

Солдат, который держал К., взял его сзади за шею двумя пальцами и пригнул вниз, так что К. упал сначала на колени, а потом уткнулся лицом в землю.

— Слышал, что приказал офицер? — спросил он. — Вот и рассказывай. Все расскажи, что знаешь. — Он сорвал с головы К. берет и вдавил его лицо в глину. Расплющенными губами и носом К. почувствовал влажный вкус глины. Он вздохнул. Его подняли, поставили на ноги. Он не открыл глаз. — Рассказывай о своих дружках, кончай валять дурака, — приказал солдат.

К. покачал головой. Его изо всей силы ударили в живот, и он потерял сознание. Солдаты были уверены, что здесь спрятаны запасы продоволь-

ствия и оружия, и весь день их искали. Сначала они прочесали участок вокруг водоема, потом двинулись вверх и вниз по реке. У одного из солдат был прибор — наушники, черная коробка, он медленно продвигался по глинистому берегу, водя по земле палкой. Нашли тыквы — наверное, все до одной, солдаты носили их к краю огорода и сбрасывали в кучу. Эта находка еще больше убедила их, что здесь много чего спрятано. („Иначе зачем им было оставлять здесь эту обезьяну?“ — услышал К.)

Его снова хотели допрашивать, но поняли, что он слишком слаб. Дали ему чаю, он его выпил, и тогда они начали убеждать его.

— Ты же едва жив, — говорили они. — Погляди на себя. Погляди, как с тобой обходятся твои друзья. Им плевать на тебя. Ты хочешь домой? Мы отвезем тебя домой, ты начнешь новую жизнь.

Его посадили, прислонив к колесу „джипа“. Кто-то поднял его берет и бросил ему на колени. Дали ломоть мягкого белого хлеба. Он проглотил кусок, согнулся, и его вырвало — и хлеб, и чай.

— Э, бросьте вы его, — сказал кто-то, — он того и гляди отдаст богу душу.

К. вытер рот рукавом. Солдаты стояли вокруг него; он чувствовал — они не знают, что делать.

И он заговорил.

— Вы меня не за того принимаете, — сказал он. — Я спал, а вы меня разбудили, вот и все. — Но они ничего не поняли.

Расположились солдаты в доме. Поставили в кухне собственную плиту, и скоро до К. донесся запах стряпни с помидорами. На веранде кто-то повесил транзистор; воздух наполнился нервными электрическими ритмами, ему от них стало тяжко и тревожно.

Его отвели в спальню в конце коридора, положили на сложенный вчетверо кусок брезента, накрыли одеялом. Дали ему теплого молока и две таблетки — сказали, что это аспирин: на этот раз его не вырвало. Потом, когда уже совсем стемнело, молоденький солдат принес ему тарелку еды.

— Попробуй, может, хоть немного съешь, — сказал он и посветил фонариком на тарелку. К. увидел две сосиски, политые густым соусом, и картофельное пюре. Он покачал головой и отвернулся к стенке.

Солдат оставил тарелку у его постели: „Может, все-таки надумаешь“. Больше его не тревожили. Он задремал ненадолго, ему мешал запах еды. Наконец он встал и отнес тарелку в угол. Часть солдат сидели на веранде, часть в гостиной. Они

болтали и смеялись, но света не зажигали. Утром из Принс-Альберта прибыла полиция с собаками — искать подземные ходы и спрятанные припасы. Капитан Остхёйзен сразу же узнал К.

— Разве такую образину забудешь? — сказал он. — Этот голубчик убежал из Яккалсдрифа в декабре. Его зовут Михаэле. Как он вам назвался?

— Михаэлом, — ответил офицер.

— Он не Михаэл, а Михаэле, — сказал капитан Остхёйзен и ткнул К. башмаком под ребро. — Ничего он не умирает, у него всегда такой вид. Верно, Михаэле?

И К. снова отвели к водоему, и он глядел, как собаки рвутся с поводков и, скуля от нетерпения, рыщут вдоль берега, солдаты едва за ними успевают, но единственное, что им удалось найти, — это несколько заячьих и ежиных нор. Остхёйзен стукнул К. кулаком в висок.

— Ах ты, обезьяна! — сказал он. — Морочить нас вздумал?

Собак снова загнали в фургон. Никому уже не хотелось больше искать. Молодые солдаты стояли на солнышке, пили кофе и болтали.

К. сидел, свесив голову между колен. В мыслях была полная ясность, но голова кружилась, и он ничего не мог с собой поделать. Изо рта стекала

струйка слюны — ну и пусть, ему все равно. Эту землю, каждый ее камень, каждый бугор, будут поливать дожди, потом опалит солнце, высушит ветер, потом снова наступит весна. И ни следа не останется от меня, будто я никогда здесь и не жил, как не осталось следа от моей матери, — она жила на земле, потом ее прах смыли дожди, развеял ветер, на нем выросла трава.

Так что же, что так привязывает меня к этому месту, точно это мой дом, думал он, почему я не могу с ним расстаться? Ведь всем нам в конце концов приходит пора уходить из дому, расставаться с матерью. Или я — тоже ребенок, ребенок из той цепочки поколений, которую никто из нас не может разорвать, и все мы возвращаемся сюда умирать, мы обязательно должны положить голову на колени матери — я своей, моя мать своей, поколение за поколением, до самой первой женщины, которая стала матерью?

Раздался громкий взрыв, и сразу же за ним второй. Воздух содрогнулся, закричали птицы, по холмам прокатилось грохочущее эхо. К. в ужасе поднял голову.

— Смотри! — сказал солдат и показал пальцем.

Там, где стоял дом Висаги, поднималось серо-оранжевое облако, облако не тумана, а пыли,

казалось, это ветер подхватил дом и уносит. Но вот облако перестало расти, начало редеть, в нем проступил костяк: часть кухонной стены с трубой, три столба веранды. Откуда-то сверху опустился кусок кровельного железа и бесшумно спланировал на землю. Грохот продолжался, но К. не знал, грохочет ли эхо в горах или у него в голове.

Мимо пролетели ласточки, так низко над землей и так близко от него, что он мог бы дотронуться до них, если бы протянул руку.

Было еще несколько взрывов, но К. не стал смотреть, что взрывают, он и без того знал, что сараи. „Вот и все, негде больше семье Висаги прятаться“, — подумал он.

Снова, прыгая по ухабам, подъехал „джип“. Солдаты вокруг К. складывали и упаковывали вещи. Но на том месте, где был его огород, один-единственный солдат продолжал трудиться. Он снимал лопатой дерн и аккуратно складывал куски в кучу рядом. К. заволновался и, шатаясь, подошел к нему.

— Что вы делаете? — крикнул он.

Солдат не ответил. Он выкопал неглубокую ямку, причем землю сыпал на расстеленный черный пластик. К. увидел, что это уже третья

ямка: возле первых двух тоже лежали на черном пластике аккуратные горки земли и кучки дерна с прилипшей к корням землей.

— Что вы делаете? — снова спросил он. Мог ли он думать, что так расстроится, увидев, как кто-то чужой копает на его поле? — Давайте я, — предложил он, — я привык копать.

Но солдат махнул ему, чтобы не мешал. Закончив третью ямку, он отмерил восемь шагов и расстелил на траве еще кусок пластика. Лопата вонзилась в землю, и тут К. опустился на корточки и закрыл траву руками.

— Пожалуйста, друг, пожалуйста! — просил он. Солдат в досаде отступил. Кто-то оттащил К. за шиворот.

— Уберите его, мешает, — сказал солдат. К. встал у насоса и не сводил с солдата глаз. А солдат вырыл пять ямок в разных концах поля и протянул между ними длинный белый шнур. Двое других принесли из грузовика ящик и начали закладывать мины. Клали мину в ямку и снимали с предохранителя, а тот, что копал ямы, сыпал горстями землю, разравнивал ее, закрывал дерном, обметал дерн щеткой, чтобы не оставалось никаких следов, и потом отползал на четвереньках.

— Что ты тут под ногами путаешься, — раздался

голос за спиной К. — Ступай к грузовику и жди. — Это был офицер. К. послушно пошел и услышал, как тот отдает приказ: — Прикрепите две штуки к стойкам на ярд от земли. Еще одну положите под помост. Когда они на него ступят, все должно взлететь на воздух.

Оборудование было погружено. К. сидел в кузове грузовика вместе с солдатами. Грузовик уже тронулся, но вдруг кто-то указал на груду тыкв на краю огорода.

— Заберите и их! — крикнул офицер из „джипа“. Тыквы погрузили. — А теперь приведите его конуру в прежний вид! — приказал офицер, и солдаты стали класть на место крышу, а машины стояли и ждали их. — Камнями сверху придавите! Да поживее!

Грузовик тронулся и поехал за „джипом“ по разбитой, в ухабах дороге. К. крепко держался за ремень над головой; он видел, что соседи отодвигаются подальше, боясь, как бы их не швырнуло на него. Поднялась туча пыли и заволокла то, что осталось позади.

Он нагнулся к солдату, который сидел против него.

— Там, в доме, — сказал он, — прятался один парнишка.

Солдат не понял. К. пришлось повторить.

— Что он говорит? — спросил кто-то.

— Говорит, в доме прятался еще один из них.

— Скажи ему, помер он. Скажи, он уже в раю.

Вот наконец и поворот на шоссе. Грузовик набрал скорость, колеса запели свою песню, солдаты вздохнули с облегчением, пыль унесло прочь, и позади открылась длинная прямая полоса шоссе, ведущего в Принс-Альберт.

# II

В лазарете появился новый пациент — маленький старичок, он потерял сознание во время физических упражнений, и его принесли с очень редким дыханием и слабым пульсом. Все признаки крайнего истощения: кожа покрыта трещинами, на руках и на ногах язвы, десны кровоточат. Огромные, выпирающие суставы; вес — меньше сорока килограммов. Говорят, его нашли где-то в вельде, в забытой богом глуши, он охранял этапный лагерь повстанцев, которые орудуют в горах, прятал оружие и растил для них овощи, хотя сам, судя по всему, их не ел. Я спросил охранников, которые его принесли, почему они заставили человека в таком состоянии выполнять физические упражнения. Да просто по недосмотру, объяснили они: он поступил с новой партией, оформление затянулось, сержант решил чем-нибудь занять людей и скомандовал бег на месте. Неужели он не видел, что человек этот едва жив? — спросил я. Заключенный ни на что не жаловался, ответили охранники, сказал, что чувствует себя нормально, он всегда такой

худой. Неужели вы не видите разницы между худым человеком и скелетом? — спросил я. Они пожали плечами.

* * *

Борюсь со своим новым больным, которого зовут Михаэле. Он твердит, что вполне здоров, только надо дать ему таблетку от головной боли. Говорит, что есть ему не хочется. Но он и не может есть: его тотчас же рвет. Я держу его на капельнице, а он все время слабо пытается вырвать трубку.

На вид он древний старик, но говорит, что ему только тридцать два года. Что ж, может быть, и вправду тридцать два. Он родом из Кейптауна и помнит, что когда-то здесь был ипподром. Узнав, что в этой палате раньше находилась раздевалка для жокеев, он усмехнулся.

— Мне бы быть жокеем, — сказал он, — при моем-то весе.

Он работал садовником в городских парках, но потерял работу и решил попытать счастья где-нибудь на ферме, уехал из города и увез с собой мать.

— А где твоя мать сейчас? — спросил я.

— Там, где трава и деревья, — сказал он, отводя

глаза.

— Умерла? — спросил я. — Трава и деревья — значит на кладбище? Он покачал головой.

— Ее сожгли. — сказал он. — А вокруг головы горели волосы, как нимб.

Сказал спокойно и равнодушно, как будто мы беседовали о погоде. По-моему, он явно не от мира сего. Чтобы такой блаженный охранял лагерь повстанцев? Чушь собачья. Наверное, кто-нибудь просто дал ему стаканчик виски и попросил приглядеть за винтовкой, а он по глупости или по наивности согласился. Задержали его как повстанца, но он вряд ли понимает, что в стране идет война.

* * *

После того как Фелисити побрила его, я смог осмотреть его рот. Обыкновенная заячья губа, с небольшим смещением перегородки. Нёбо нормальное. Я спросил его, пытались ли ему когда-нибудь исправить этот дефект. Он не знает. Я сказал, что операция очень несложная, ее можно сделать и сейчас. Если мне удастся все устроить, он согласится? И вот его ответ, слово в слово: „Какой я есть, таким и останусь. Девушки меня никогда особенно не интересовали“.

Мне хотелось сказать ему: при чем тут девушки, ему просто будет легче жить, если он сможет нормально разговаривать, но пожалел его и промолчал.

Рассказал о нем Ноэлю.

— Сторож в лагере повстанцев? Да ему нельзя доверить простейший аттракцион в парке, — сказал я. — Он умственно отсталый, его случайно занесло в места, где идут бои, а выбраться оттуда у него соображения не хватило. В исправительном лагере ему не место; его надо поместить в какой-нибудь инвалидный дом, и пусть плетет там корзинки или нанизывает бусы. Ноэль принес его дело.

— Судя по тому, что тут написано, Михаэле — поджигатель. К тому же он сбежал из трудового лагеря. Его поймали на заброшенной ферме, где он выращивал овощи на огромной плантации и кормил местных партизан. Вот в чем его обвиняют.

Я покачал головой.

— Это ошибка, они спутали его с каким-нибудь другим Михаэлсом. Этот Михаэле — дурачок. Он совершенно беспомощен. Если он выращивал овощи на огромной плантации, почему же тогда он умирает от голода?

— Почему ты не ел? — спросил я Михаэлса, когда вернулся в палату. — Говорят, у тебя была плантация. Значит, была и еда?

Он ответил:

— Я спал, а меня разбудили. — Наверное, на лице у меня выразилось недоумение. — Когда я сплю, мне не нужна еда, — объяснил он.

Он говорит, что его зовут не Михаэле, а Михаэл.

* * *

Ноэль требует, чтобы я не задерживал больных в лазарете. У нас всего восемь коек, а больных сейчас шестнадцать, остальные восемь лежат в помещении, где раньше взвешивали жокеев. Зачем я их так долго лечу, неужели нельзя выпустить побыстрее? Я объясняю ему, что, если не долечу больного дизентерией, в лагере начнется эпидемия. Нет, от эпидемии избави боже, но в лазарет часто попадают симулянты, а он не намерен им попустительствовать. Его обязанность — перевоспитывать заключенных, отвечаю я, моя — лечить больных, на то я и врач. Он похлопывает меня по плечу.

— Вы знаете свое дело, я в этом нисколько не сомневаюсь, — говорит он. — Но они не должны

считать, что мы их жалеем, это единственное, чего я хочу.

Между нами повисает молчание; мы смотрим, как по стеклу бьются мухи.

— Но мы их действительно жалеем, — неуверенно говорю я.

— Может, и жалеем, — соглашается он. — Может, где-то в глубине души у нас даже есть расчет. Может, мы надеемся, что, если они все-таки возьмут верх и над нами начнется расправа, кто-нибудь вмешается и скажет: „Этих двух отпустите, они нас жалели“. Кто знает? Но сейчас я не об этом. Я сейчас о койкообороте. В наш лазарет поступает больше больных, чем из него выписывается, и я вас спрашиваю, что вы собираетесь по этому поводу предпринять?

Когда мы вышли из его кабинета, то увидели, что посреди бегового поля капрал поднимает на флагштоке оранжево-бело-синий флаг, оркестр из пяти человек играет „Uit die blou“[2], причем корнет фальшивит, а вокруг по стойке смирно стоят шестьсот человек с угрюмейшими лицами, босые, в рваных, не по размеру формах, — это их так перевоспитывают. Год назад мы пытались

---

**[2] Примечания: 2**

„Хвалите господа с небес“ *(африкаанс).*

заставить их петь, но давно отступились.

* * *

Сегодня утром Фелисити вывела Михаэлса из палаты подышать воздухом. Когда я проходил мимо, он сидел на траве, подняв лицо к солнцу и впитывал тепло, как ящерица. Я спросил, нравится ли ему в лазарете. Он оказался неожиданно разговорчивым.

— Очень хорошо, что здесь нет радио, — сказал он. — В том, другом, месте радио играло все время.

Я подумал, что это он о другом лагере, но оказалось, нет: он вспомнил тот несчастный приют, где вырос.

— Там музыка играла с утра до вечера, до восьми часов. И деться от нее было некуда.

— Музыка играла, чтобы успокаивать вас, — объяснил я. — Иначе вы бы все время дрались и бросали в окно стулья. А музыка смягчала вашу агрессивность.

Не знаю, понял ли он меня, однако улыбнулся своей кривой улыбкой.

— А я от нее места себе не находил. Хотелось бежать куда глаза глядят — она мне думать мешала.

— О чем же ты думал?

— О том, что я лечу. Мне всегда хотелось летать. Я раскидывал руки и представлял себе, что вот я лечу над заборами, между домами. Лечу низко, над головами людей, а они меня не видят. А когда включали музыку, я ужасно мучался и больше не мог летать.

И он даже назвал две или три песни, которые ему особенно досаждали.

Я распорядился, чтобы его положили на другую кровать, возле окна, подальше от парня со сломанной ногой, который невесть почему невзлюбил К. и целый день его шпыняет. Теперь, когда он садится, ему хотя бы видно небо и верхушку флагштока.

— Ешь чуть больше, тогда ты сможешь ходить гулять, — уговариваю я его.

Но на самом деле ему нужна физиотерапия, а у нас ее нет. Он похож на игрушку из палочек, скрепленных резинками. Ему нужна строжайшая диета, легкие физические упражнения и физиотерапия, и тогда его через какое-то время можно будет выпустить в лагерную жизнь, и пусть себе марширует взад-вперед по беговому полю, выкрикивает лозунги и салютует флагу, а потом роет ямы и снова их засыпает.

* * *

Услышал случайно в лагерной лавке: — Дети никак не могут привыкнуть жить в квартире. Страшно скучают по нашему саду и по своим собакам. Пришлось эвакуироваться в такой спешке, предупредили всего за три дня. Вспоминаю, что мы там оставили, и готова плакать. — Это говорила цветущая женщина в платье в горошек, кажется, жена одного из наших унтер-офицеров. Когда она вспоминала о своем брошенном доме, ей, конечно, представлялось, что на ее кровати развалился в грязных башмаках какой-нибудь детина, потом он встает, подходит к морозильной камере и плюет в мороженое. — Нет, не утешайте меня, — говорила она маленькой худенькой женщине с короткими зачесанными назад волосами; я ее раньше не видел. Верит ли кто-нибудь из нас в то дело, которое мы здесь делаем? Сомневаюсь. И уж меньше всех муж этой женщины в платье горошком. Нам дали старый ипподром, много колючей проволоки и приказали перевоспитывать людские души. В душах мы смыслим мало, но исходя из того, что душа все-таки как-то связана с телом, мы заставляем заключенных отжиматься и маршировать взад-вперед. Оглушаем их музы-

кой духового оркестра и показываем фильмы, в которых молодые солдаты в ладно пригнанных формах учат седовласых деревенских старейшин истреблять москитов и пахать по контуру поля. После такой обработки мы выдаем им свидетельство, что они исправились, и отправляем в трудовые части, где они носят воду и роют сортиры. На больших военных парадах перед камерой непременно проходит вместе с танками, ракетами и полевой артиллерией такая трудовая часть — в доказательство того, что мы умеем обращать врагов в союзников; однако я заметил, что на плече у них не винтовки, а лопаты.

* * *

Возвращаясь в воскресенье вечером в лагерь, я чувствую себя заядлым игроком на скачках. Над главными воротами висит надпись: „Загон А“. У входа в лазарет табличка: „Посторонним вход воспрещен“. Почему их не сняли? Они что, думают, ипподром когда-нибудь снова откроется? Неужели люди где-нибудь все еще тренируют скаковых лошадей и надеются, что после всех этих катастроф мир станет таким же, как прежде?

* * *

У нас осталось двенадцать больных. Однако Михаэлсу не лучше. Видимо, у него серьезно нарушена система пищеварения. Я опять посадил его на обезжиренное молоко.

Он лежит, глядя в окно на небо, — голый череп, торчащие уши, на лице обычная улыбка. Когда его принесли, у него был с собой пакетик из оберточной бумаги, он положил его под подушку. Сейчас он часто достает его и прижимает к груди. Я спросил его, что там такое — muti[3]? Нет, ответил он и показал мне высушенные семена тыквы. Меня это очень взволновало.

— Когда кончится война, ты обязательно должен снова стать садовником, — сказал я. — Ты, наверно, вернешься в Кару? — Он отвел глаза. — Конечно, на полуострове тоже хорошая земля, в долинах и на склонах холмов, — сказал я. — Как хорошо, если здесь снова начнут выращивать фрукты и овощи.

Он ничего не ответил. Я взял из его рук пакет и засунул ему под подушку — для сохранности. Когда я через час проходил мимо него, он спал,

---

**[3] Примечания: 3**
Здесь: амулет *(африкаанс).*

уткнувшись лицом в подушку, как ребенок.

Он точно камешек, который лежал себе тихо с сотворения мира, а сейчас его вдруг подняли и перебрасывают из рук в руки. Маленький твердый камешек, он вряд ли замечает, что творится вокруг, так он замкнут в себе и в своей внутренней жизни. Он прошел через приют, через лагеря и лазареты, и еще бог знает через что он прошел, и ничто не оставило на нем следа. Даже мясорубка войны. Существо, не рожденное смертной матерью и само не способное дать никому жизнь. Для меня он не вполне человек, хотя судя по всему он старше меня.

* * *

Его состояние стабилизировалось, желудок нормализуется. Но пульс очень редкий, а давление низкое. Вчера он пожаловался, что мерзнет, хотя ночи стали теплее, и Фелисити пришлось дать ему носки. Сегодня утром я дружески заговорил с ним, но он не отозвался.

— Вы думаете, я без вас умру? — спросил он. — Зачем вы хотите раскормить меня? Зачем столько возитесь со мной? Чем я лучше других?

Я был не в настроении с ним спорить. Хотел пощупать его пульс, но он с неожиданной силой

вырвал свою руку, тонкую, как ножка паука. Я сделал обход и потом снова вернулся к нему. Теперь я знал, что ему сказать.

— Ты спрашиваешь, Михаэле, чем ты лучше других. Я тебе отвечу: ничем. Но это не значит, что ты никому не нужен. Нужны все. Даже воробьи. Даже самый маленький муравей.

Он долго смотрел в потолок, точно шаман, совещающийся с духами, потом заговорил.

— Моя мать всю жизнь работала, — сказал он. — Мыла людям полы, готовила им еду, мыла грязную посуду. Стирала их белье. Отмывала после них ванну. Чистила на коленях унитаз. А когда она состарилась и заболела, она им стала больше не нужна. Они забыли о ней. Потом она умерла, и ее сожгли. А мне дали коробку с прахом и сказали: „Вот твоя мать, забери ее, она нам не нужна“.

Парень со сломанной ногой внимательно слушал, хотя и притворялся, что спит.

Я ответил Михаэлсу резко, как только мог: незачем поощрять эту его жалость к себе, решил я.

— Мы делаем для тебя то, что положено, — сказал я. — Успокойся, ты ничем не лучше других. Вот поправишься, и мой на здоровье полы, чисти унитазы. Что касается твоей матери, ты расска-

зал мне не все, я уверен, и ты сам это отлично знаешь.

Но все равно он прав: я действительно уделяю ему слишком много внимания. Да кто он такой в конце концов? С одной стороны, города сейчас наводнены беженцами из сельской местности, которым кажется, что здесь безопасней. С другой стороны, людям надоело ютиться по пять человек в комнате и жить впроголодь, и они перебираются на заброшенные фермы, надеясь хоть как-то прожить там. И конечно же, Михаэле — один из этого множества. Мышь, сбежавшая с переполненного тонущего корабля. Только он городская мышь, он не умел жить, возделывая землю, и совсем оголодал. К счастью, его заметили и снова втащили на борт. Чем он так недоволен?

* * *

Ноэлю вчера звонили из полиции Принс-Альберта. Ночью выведен из строя городской водопровод. Взорвана насосная станция и в нескольких местах повреждены трубы. Пока не прибудет подразделение инженерных войск, придется брать воду из колодцев. Воздушные линии электропередач также не действуют. Что ж, тонет еще один маленький корабль, а большие

все еще одиноко плывут в темноте, борясь с волнами и скрипя под грузом людей. Полиция хочет еще раз допросить Михаэлса о виновниках, то бишь о его друзьях с гор. Предлагают нам также задать ему ряд вопросов.

— Да ведь его уже допрашивали, — возразил я Ноэлю. — Какой смысл начинать все сначала? Везти его нельзя, он слишком слаб, болен, да и вообще он не в себе.

— А с нами разговаривать он тоже не сможет, слишком болен? — спросил Ноэль.

— С нами он разговаривать сможет, но никакого толка мы от него не добьемся, — ответил я.

Ноэль достал бумаги Михаэлса, показал мне. В графе „род занятий“ я прочел выведенное аккуратным почерком деревенского полицейского: „Opgaarder“[4].

— Что такое opgaarder? — спросил я.

— Ну, тот, кто собирает и хранит припасы, как белка, или муравей, или пчела.

— Это что — новая профессия? Он учился в школе для opgaarder, ему присвоили квалификацию opgaarder? — спросил я.

Мы привели Михаэлса в пижаме и с одеялом на

---

**[4] Примечания: 4**
Собиратель, хранитель *(африкаанс).*

плечах в склад в дальнем конце трибун. У стены громоздились банки с краской и картонные ящики, все углы затянуты паутиной, на полу толстый слой пыли, сесть не на что. Михаэле твердо стоял на своих тонких, как спицы, ногах и, кутаясь в одеяло, сурово смотрел на нас.

— Вляпался ты, Михаэле, не позавидуешь, — сказал Ноэль. — Твои друзья из Принс-Альберта орудуют вовсю. Совсем обнаглели. Мы должны поймать их и потолковать с ними. Ты можешь нам помочь, мы это знаем и решили сделать еще одну попытку. Расскажи нам о своих друзьях: где они прячутся, как можно с ними связаться. — Он закурил сигарету. Михаэле не шевельнулся, не отвел от нас глаз.

— Михаэле, — сказал я, — Михаэле, некоторые из нас вовсе не считают, что ты связан с повстанцами. Убеди нас, что ты не сотрудничал с ними, и ты избавишь нас от массы хлопот, а себя от неприятностей. Признайся же нам, признайся майору: что ты делал на ферме, когда тебя поймали? Что мы о тебе знаем? Только то, что написано в деле, которое прислала полиция Принс-Альберта, но честно признаюсь: написана там полная чепуха. Скажи нам правду, признайся, как все было на самом деле, и мы отпустим тебя, иди в

палату и ложись, мы больше не будем ни о чем допытываться.

Он слегка пригнулся и сжал руками одеяло у горла, неподвижно глядя на нас.

— Ну, говори же, дружище! — сказал я. — Никто тебе ничего плохого не сделает, скажи то, о чем мы тебя спрашиваем, и все!

Молчание. Ноэль не произносил ни слова, он возложил всю тяжесть разговора на меня.

— Ну что же ты, Михаэле, — настаивал я, — не так уж у нас много времени, ведь идет война!

— Я в войне не участвую, — наконец произнес он. Меня взяла досада.

— Это ты-то не участвуешь? Еще как участвуешь, хочется тебе этого или нет! Ты не в санатории и не на курорте, ты в исправительном лагере: мы перевоспитываем здесь таких, как ты, и заставляем работать! Ты будешь с утра до ночи насыпать мешки песком и рыть ямы! И если не станешь помогать нам, попадешь кое-куда похуже! Будешь там целый день жариться на солнце и есть картофельную шелуху и стержни кукурузных початков, а не выдержишь такой жизни и умрешь, тебя просто вычеркнут из списков, и все, конец, назавтра никто о тебе и не вспомнит. Так что брось упираться, время дорого, расскажи нам,

что ты делал на ферме, а мы запишем и пошлем в Принс-Альберт. Майор очень занятой человек, он не привык терять время, он был в отставке, но вернулся на службу, навел в этом лагере замечательный порядок и помогает таким людям, как ты. Ты должен пойти нам навстречу.

И он ответил, стоя все в той же настороженной позе, готовый отпрянуть, если я брошусь на него.

— Не мастер я говорить, — только и сказал он. И тут же облизнул губы — словно язычок ящерицы мелькнул.

— Плевать нам, мастер ты говорить или не мастер, нам нужна правда, пойми ты! Он в ответ хитро усмехнулся.

— У тебя там была плантация — сказал Ноэль, — что ты на ней выращивал?

— Это был просто огород.

— Для кого ты выращивал овощи? Кого ими кормил?

— Они были не мои. Их вырастила земля.

— Я тебя спросил: кого ты ими кормил?

— Их взяли солдаты.

— А тебе было обидно, что солдаты взяли твои овощи?

Он пожал плечами.

— То, что растет на земле, принадлежит нам

всем. Все мы дети земли. Тут в разговор вступил я.

— На этой ферме похоронена твоя мать, верно? Ты ведь говорил мне, что твоя мать похоронена там?

Лицо его замкнулось и стало как камень, но я продолжал наступать, чувствуя, что он вот-вот сдастся.

— Ты рассказал мне о своей матери, но майор ничего не знает. Расскажи майору о матери.

Я снова увидел, как он страдает, когда его вынуждают говорить о матери. Пальцы его ног скрючились, он облизал свою заячью губу.

— Расскажи нам о своих друзьях, которые появляются среди ночи, сжигают фермы и убивают женщин и детей, — сказал Ноэль. — Вот что меня интересует.

— Расскажи нам о своем отце, — сказал я. — Ты часто говоришь о матери, но ни разу не вспомнил об отце. Что случилось с твоим отцом?

Он упрямо сжал рот, который не мог толком сжаться, и затравленно смотрел на нас.

— Неужели у тебя нет детей, Михаэле? — спрашивал я. — Мужчина в твоем возрасте… Неужели у тебя нет где-нибудь жены и детей? Почему ты один? Почему не думаешь о будущем? Ты хочешь,

чтобы твой род закончился на тебе? Это будет очень грустно, тебе не кажется?

Тишина была такая плотная, что я услышал, как у меня звенит в ушах, такая тишина бывает в шахтах, в погребах, в бомбоубежищах, там, где нет воздуха.

— Мы привели тебя сюда поговорить, Михаэле, — сказал я. — Мы положили тебя в удобную постель, сытно тебя кормили, никто не мешает тебе целый день лежать и глядеть, как по небу летят птицы, но мы хотим получить от тебя что-то взамен. Пришло время платить по счету. Тебе есть что рассказать, и мы готовы слушать. Можешь начать с чего угодно. Расскажи нам о своей матери. Расскажи об отце. Расскажи, что ты думаешь о жизни. А если не хочешь рассказывать о матери и об отце и о своем отношении к жизни, расскажи, как ты там возделывал землю, расскажи о своих друзьях с гор, которые время от времени наведывались к тебе и которых ты кормил. Расскажи нам то, что нас интересует, и мы отпустим тебя с миром.

Я умолк. Он смотрел на меня, и лицо было все такое же каменное.

— Ну же, Михаэле, говори, — продолжал я. — Ты сам видишь, как это легко — говорить. Послушай

меня — слышишь, как легко мои слова наполняют эту комнату. Я знаю людей, которые могут говорить целый день напролет и никогда не устанут, они способны весь мир заговорить. — Ноэль предостерегающе посмотрел на меня, но я продолжал гнуть свое. — Да прояви себя хоть как-нибудь, иначе ты так и проживешь жизнь, никем не замеченный. Ты прибавишь лишнюю единицу к тому огромному числу жертв, которое подсчитают, когда кончится война. Ведь ты не хочешь быть всего лишь одним из безвестных погибших? Ты хочешь жить, хочешь! Так говори же, ради всего святого, дай нам услышать твой голос, расскажи, что ты знаешь! Мы слушаем тебя! Где еще во всем мире ты найдешь двух вежливых цивилизованных людей, которые готовы слушать тебя весь день, а если надо, то и всю ночь, да еще записывать твой рассказ? Ноэль резко повернулся и вышел из комнаты.

— Подожди, я сейчас вернусь, — приказал я Михаэлсу и бросился за Ноэлем. Догнал его в темном коридоре и с мольбой схватил за рукав.

— Вы от него никогда ничего не добьетесь, — сказал я, — вы сами видите. Он дурачок, к тому же даже не забавный. Обездоленное, беспомощное существо, которому позволили забрести, если

можно так выразиться, на поле битвы жизни, а его надо бы запереть в лечебницу, отгородить от мира высоким забором, и пусть бы он там набивал подушки или поливал цветы. Послушайте меня, Ноэль, у меня к вам серьезная просьба. Отпустите его. Не надо выбивать из него признание.

— Кто собирается его бить?

— Не пытайтесь выудить из него признание, — ему не в чем признаваться, клянусь вам. И если глубоко вдуматься, он и сам не знает, что делает: я уверен в этом, ведь я давно за ним наблюдаю. Сочините какой-нибудь отчет для полиции. Как, по-вашему, сколько может быть повстанцев в этом свартбергском отряде? Двадцать? Тридцать? Напишите, что он сказал вам, что их там двадцать. Они приходили на ферму раз в месяц или даже реже, в одном и том же составе, и не говорили ему, когда придут в следующий раз. Фамилий их он не знает, только имена. Составьте список имен. Перечислите оружие, которое у них было. Напишите, что где-то в горах у них лагерь, где именно — они ему не говорили, он знает только, что далеко, от фермы идти пешком два дня. Напишите, что они спят в пещерах и что среди них есть женщины. И дети. Этого будет довольно. Пошлите такой отчет. Они от нас отстанут, и мы

сможем заниматься своим делом.

Мы стояли на солнце под синим весенним небом.

— Вы, стало быть, хотите, чтобы я обманул полицию, да еще подписал под этой ложью свое имя.

— Это не ложь, Ноэль. Скорее всего, так оно и есть, только Михаэле нам даже под пытками не признается.

— А если отряд живет вовсе не в горах? Если они живут в окрестностях Принс-Альберта, днем послушно работают, делают все, что им велят, а ночью, когда дети засыпают, достают из-под половиц винтовки и начинают орудовать в темноте, взрывают, поджигают, терроризируют население? Такой вариант вам не пришел в голову? Почему вы так стараетесь защитить Михаэлса?

— Ноэль, я его вовсе не защищаю! Неужели вам хочется провести весь день в этой грязной дыре, вытягивая признание у несчастного идиота, у слабоумного, который трясется от ужаса, когда ему снится мать с горящими волосами, и который убежден, что детей находят в капусте? Ноэль, у нас есть дела поважнее! Он ни в чем не замешан, поверьте мне, и если вы передадите его полиции, они придут к тому же выводу: он ни в чем

не замешан, ему не в чем признаваться, нечего рассказать, что хоть сколько-то заинтересовало бы разумных людей. Я наблюдаю за ним, я знаю! Он не от мира сего. Он живет в своем собственном мире.

Словом, Михаэле, мое красноречие спасло тебя. Мы состряпаем признание, которое вполне удовлетворит полицию, и тебя не повезут в Принс-Альберт в полицейском фургоне, в наручниках, в луже мочи на полу, ты будешь по-прежнему лежать в чистых простынях и слушать, как воркуют голуби, дремать, думать о чем тебе хочется. Надеюсь, когда-нибудь ты будешь мне за это благодарен.

Но вот что удивительно: ты прожил тридцать лет среди отверженных города, потом тебя швырнуло (если верить тому, что ты рассказываешь) в район боевых действий, и ты не погиб, но поддерживать твою жизнь сейчас — все равно что выхаживать захиревшее животное, слабенького новорожденного котенка или выпавшего из гнезда птенца. У тебя нет ни документов, ни денег, нет семьи, друзей, ты совершенно не понимаешь, что ты такое. Незаметнейший из незаметных, такой незаметный, что сразу бросаешься в глаза.

* * *

Первый теплый летний день, на пляж бы, а у нас новый пациент — высокая температура, головокружение, рвота, лимфатические узлы распухли. Я поместил его отдельно, в комнате, где раньше взвешивались жокеи, и распорядился отправить кровь и мочу на анализ в Уинберг. Полчаса назад захожу в экспедиторскую, и там, на виду у всех, стоит пакет с красным крестом и с надписью „Срочно“. Секретарь объясняет, что машины, развозящей корреспонденцию, сегодня не было. Почему же он не послал кого-нибудь на велосипеде? Отвечает, некого было послать. Речь идет не о здоровье одного какого-то заключенного, говорю я, речь идет обо всем лагере — это наша жизнь или смерть. Он пожимает плечами. Mojre is nog'n dag[5]. Успеется. На столе у него открытый журнал для молодых девиц.

Дубы на Розмид-авеню на западной стороне лагеря, за кирпичной стеной и колючей проволокой, за несколько дней покрылись пышной изумрудной листвой. С улицы доносится цоканье лошадиных копыт, а с бегового поля пение

---

**[5] Примечания: 5**
Можно и завтра *(африкаанс).*

маленького хора Уинбергской церкви, который приезжает со своим аккордеонистом по воскресеньям два раза в месяц выступать перед заключенными. Сейчас хор поет „Loot die Heer“[6] — свой заключительный номер, после которого наши подопечные пойдут строем в сектор „Д“, где их ждет рар[7] и бобы с соусом. Об их душах заботится хор и пастор (в пасторах никогда нет недостатка), о теле — врач. Так что они ни в чем не нуждаются, месяц-полтора — и их выпустят из лагеря, удостоверив их „чистоту помыслов“ и „готовность трудиться“, и мы увидим шестьсот новых, горящих непокорностью лиц. „Не я, так кто-нибудь другой, — говорит Ноэль, — и этот другой будет хуже меня“. „С тех пор как я заведую лагерем, заключенные хотя бы умирают естественной смертью“, — говорит Ноэль. „Не может же война длиться вечно, — говорит Ноэль, — когда-нибудь она кончится, как все на свете кончается“. Вот что любит повторять майор ван Рензбург. „И все равно, — говорю я, когда наступает мой черед говорить, — однажды перестрелка кончится, и часовые разбегутся, и

**[6] Примечания: 6**
„Славьте господа“ *(африкаанс).*

**[7] Примечания: 7**
Каша *(африкаанс).*

враги беспрепятственно войдут в ворота и будут правы, если захотят найти коменданта лагеря в кабинете за своим письменным столом с пулей в виске. Именно этого они и будут от вас ждать, несмотря ни на что“. Ноэль не отвечает, хотя, я уверен, он давно уже все обдумал.

* * *

Вчера я выписал Михаэлса. В выписке специально указал, что его необходимо освободить от физических упражнений минимум на семь дней. И первое, что я увидел, выйдя утром из помещений внутри трибун, был Михаэле — обнаженный по пояс скелет, он еле тащился по полю за группой крепких, сильных мужчин. Я высказал свое недовольство дежурному.

— Когда он устанет, может уйти, — ответил тот.

— Он умрет, — объявил ему я, — у него сердце не выдержит.

— Он вам наплел невесть чего, вы и разжалобились, — ответил дежурный. — Они умеют пудрить мозги, разве им можно верить? А он здоров как бык. И вообще, чего вы с ним так носитесь? Вон, глядите!

Он показал на Михаэлса, который пробегал

мимо нас. Глаза его были закрыты, дышал он глубоко, лицо спокойное.

Может, я и впрямь зря верю всему, что он рассказывал. Может, на самом деле все гораздо проще: ему нужно меньше еды, чем другим, только и всего.

* * *

Я ошибся. Напрасно поддался сомнению. Через два дня он снова оказался у нас. Фелисити подошла к двери и увидела Михаэлса — его приволокли два охранника, он был без сознания. Она спросила, что произошло. Те сделали вид, что не знают. Сказали, спросите сержанта Альбрехтса.

Руки и ноги у него были холодные как лед, пульс еле прослушивался. Фелисити завернула его в одеяло, обложила грелками. Я сделал укол, потом стал вливать глюкозу и молоко через трубку.

Альбрехте считает, что Михаэле просто-напросто проявил неповиновение, — отказался выполнять приказ, и в качестве наказания ему велели делать физические упражнения — приседания и прыжки. Он присел несколько раз, упал, и привести его в чувство уже не удалось.

— Какой приказ он отказался выполнить? — спросил я.

— Петь.

— Петь? Да он же не в своем уме, он и говорить-то толком не умеет, а вы хотели, чтобы он пел!

Сержант пожал плечами.

— Хоть бы попробовал, ничего бы с ним не случилось.

— Как вы могли заставить его в наказание делать физические упражнения? Он едва жив, вы сами видите.

— Я действовал по уставу, — сказал он.

* * *

Михаэлс пришел в сознание. Он сразу же выдернул из носа трубку, Фелисити не успела ему помешать. Он лежит на кровати возле двери под ворохом одеял, похожий на труп, и отказывается от пищи. Тонкой, как палка, рукой он отталкивает поильник.

— Я такую еду не ем, — повторяет он.

— А какую еду, черт возьми, ты ешь? — спрашиваю я. — Почему ты так с нами обращаешься? Мы хотим тебе помочь, ты что, не понимаешь? — Он смотрит на меня так ясно и равнодушно, что я прихожу в ярость. — Каждый день сотни людей умирают от голода, а ты отказываешься есть! Почему? Ты что, объявил голодовку? В знак проте-

ста? Против чего ты протестуешь? Хочешь, чтобы тебя освободили? Да если мы тебя выпустим, если ты выйдешь из лагеря в таком состоянии, ты через несколько часов умрешь. Ты не способен заботиться о себе, не умеешь. Мы с Фелисити — единственные люди на свете, которые хотят тебе помочь. Не потому что ты какой-то особенный, а потому что это наш долг. Почему ты не хочешь пойти нам навстречу?

Моя возмущенная речь взволновала всю палату. Парнишка, у которого я подозревал менингит (и который вчера, когда я зашел в палату, пытался засунуть руку под юбку Фелисити), поднялся на своей кровати на колени и, ухмыляясь, глядел на нас.

Даже Фелисити перестала мести палату и застыла со шваброй.

— Я не просил, чтобы ко мне относились по-особому, — прохрипел Михаэле.

Я повернулся и вышел.

Ты никогда ни о чем не просил, и все равно я не могу избавиться от мыслей о тебе. У меня такое ощущение, что твои костлявые руки обхватили мою шею, что я тащу тебя на себе.

Немного погодя, когда палата успокоилась, я вернулся и сел на край твоей кровати. Ждать

мне пришлось долго. Наконец ты открыл глаза и произнес:

— Я не умру. Просто я не могу есть такую еду. Не могу есть лагерную еду.

— Напишите в отчете, что он умер, — уговаривал я Ноэля. — Я подведу его вечером к воротам, дам немного денег и пусть идет себе на все четыре стороны. Пусть заботится о себе сам. Напишите, что он умер, а я составлю для вас свидетельство о смерти: „Причина смерти — пневмония, вызванная хроническим истощением“. Вычеркнем его из списка заключенных и забудем о нем.

— Меня удивляет ваш интерес к нему, — сказал Ноэль. — Не просите меня подделывать документы, я на это не пойду. Если он хочет умереть и потому отказывается есть, пусть умирает. Вот все, что я могу сказать.

— Это не потому, что он умирает, — сказал я. — И не потому, что он хочет умереть. Просто он не может есть здешнюю еду. Его организм не принимает ее, и все. Не принимает даже детское питание. Может быть, единственное, что он может есть, — это хлеб свободы.

Наступило неловкое молчание.

— Может быть, мы с вами тоже не смогли бы есть лагерную еду, — сказал я.

— Вы видели, каким его привезли сюда, — скелет скелетом, — сказал Ноэль. — Он жил один на той ферме, свободный как птица, ел хлеб свободы, и все равно он был живые мощи. Похож на узника Дахау.

— Может быть, он от природы такой худой, — сказал я.

* * *

В палате было темно, Фелисити спала в своей комнате. Я, с фонариком в руке, наклонился над кроватью Михаэлса и потряс его за плечо, он проснулся, прикрыл рукой глаза. Я склонился так низко, что услышал запах дыма, который от него исходит, хотя его моют, и зашептал:

— Хочу поговорить с тобой, Михаэлс. Если ты не будешь есть, ты и в самом деле умрешь. Это ясно как божий день. Ты будешь умирать долго, мучительно, но в конце концов все равно умрешь. И я ничего не сделаю, чтобы помешать тебе. Мне ничего не стоит привязать тебя к кровати, вставить в горло трубку и кормить насильно, но я не стану. Я не хочу обращаться с тобой как с ребенком или как с животным, я хочу обращаться с тобой как со свободным человеком. Если ты решил расстаться с жизнью, что ж, расставайся, это твоя жизнь,

не моя.

Он отвел руку от глаз и глухо откашлялся. Хотел что-то сказать, но не сказал, покачал головой и улыбнулся. В свете фонарика его улыбка показалась отталкивающей, похожей на акулий оскал.

— Чего бы ты хотел съесть? — спросил я шепотом. — Какую еду ты станешь есть?

Он медленно протянул руку и отвел фонарик в сторону. Потом повернулся на другой бок и снова заснул.

* * *

Перевоспитание сентябрьской партии закончилось, и сегодня утром длинная босоногая колонна наших подопечных с барабанщиком впереди и с охранниками по флангам отправилась за двенадцать километров на вокзал, откуда их повезут в глубь страны. В лагере осталось шесть человек неисправимых, запертых и ждущих отправки в Мюлдерсрус, и трое лежачих больных в лазарете. Один из них Михаэлс: с тех пор как он отказался, чтобы его кормили через трубку, он не взял в рот ни крошки.

Ветерок несет запах карболки, приятная тишина. Мне легко, я почти счастлив. Значит, вот как все будет, когда кончится война и лагерь

закроют? (А может быть, лагерь даже и тогда не закроют? Ведь лагеря с высокими заборами всегда нужны.) Весь лагерный персонал, кроме нескольких человек, разъехался на выходные. В понедельник ожидается ноябрьское поступление. Но железнодорожное сообщение сейчас настолько ненадежно, что ничего нельзя загадывать, даже за день вперед. Неделю назад было нападение на Де-Ар, серьезно повреждены станционные пути. Ни газеты, ни радио об этом не сообщали, но Ноэль узнал из достоверных источников.

* * *

Я купил у уличного торговца на Мейн-роуд кабачок, разрезал на тонкие ломти и поджарил в тостере.

— Это не тыква, — сказал я Михаэлсу, усаживая его в подушках, — но по вкусу очень похоже.

Он откусил кусочек и стал с трудом мусолить во рту.

— Нравится? — спросил я.

Он кивнул. Кабачок был посыпан сахаром, но вот корицы у меня не нашлось. Я посидел немного и ушел, чтобы не смущать его. Вернулся — он лежит, и тарелка возле него пустая. Когда Фели-

сити будет в следующий раз убирать палату, она выметет из-под кровати куски кабачка, сплошь облепленные муравьями. Жалко.

— Как убедить тебя, что надо есть? — спросил я его.

Он молчал так долго, что я подумал, он заснул. Но вот он откашлялся.

Никому никогда раньше не было дела, что я ем, — проговорил он. — И я спрашиваю себя: вам-то что до меня?

Я не могу смотреть, как ты умираешь от голода. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь здесь умер от голода.

Вряд ли он слышал меня. Его растрескавшиеся губы продолжали шевелиться, словно он боялся потерять какую-то мысль:

Я все спрашиваю себя, что я этому человеку? Я спрашиваю себя: какое дело этому человеку жив я или умер?

С таким же успехом ты мог бы спросить, почему мы не расстреливаем заключенных. Примерно тот же самый вопрос.

Он покачал головой и вдруг открыл глаза и посмотрел на меня огромными темными озерами. Я хотел еще что-то сказать, но не смог. Абсурд — спорить с человеком, который глядит на тебя

словно бы из могилы.

Мы долго смотрели друг на друга. Потом я услышал, что говорю, вернее не говорю, а шепчу. В голове у меня мелькнуло: я сдался. Именно так себя чувствуешь, когда потерпел поражение.

— Я мог бы задать тот же вопрос тебе, — шептал я, — тот же вопрос, что ты задал мне: что я этому человеку? — шептал я все тише и тише, и сердце у меня гулко стучало. — Я не звал тебя сюда. Пока ты не появился, у меня все было хорошо. Я был счастлив — насколько человек может быть счастлив в таком месте. Поэтому я тоже спрашиваю: что мне до тебя?

Он снова закрыл глаза. Горло у меня пересохло. Я ушел в умывалку, выпил воды и долго стоял, прислонившись к раковине, меня переполняла печаль, я думал, что вот-вот случится беда, а я к ней не готов. Я вернулся к нему со стаканом воды.

— Пусть ты не ешь, — сказал я, — но пить ты все равно должен.

Помог ему сесть, он сделал несколько глотков.

* * *

Дорогой Михаэлс, я отвечу на твой вопрос. Я хочу узнать историю твоей жизни. Хочу понять,

как случилось, что ты, именно ты, замешался в войну, которая не имеет к тебе никакого отношения. Ты не солдат, Михаэлс, ты комическая фигура, шут, ярмарочный деревянный человечек. Что ты делаешь в этом лагере? Мы не можем перевоспитать тебя, не можем освободить от жаждущей мести матери с пылающими волосами, которая преследует тебя в твоих снах. Я правильно себе все это представляю? Мне кажется, что правильно. И для какого дела мы должны тебя перевоспитывать? Чтобы ты плел корзины? Стриг газоны? Ты точно насекомое палочник, Михаэлс, единственная защита которого от всех хищников мира — его причудливая форма. Ты точно палочник, который бог весть откуда взялся посреди огромного, голого, покрытого асфальтом плаца. Ты медленно поднимаешь то одну, то другую тоненькую ножку-палочку, ты ползешь, тщетно надеясь слиться с чем-нибудь, спрятаться. Зачем ты вообще ушел из сада, Михаэлс? Твое место там. Жил бы себе всю жизнь где-нибудь на тихой окраине, в дальнем углу запущенного сада, в неприметном кустике, делал бы то, что положено делать насекомым — обгрызал листочки, ел тлей, пил росу. И — прости, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь, — тебе надо было как можно

раньше отдалиться от твоей матери, которую я считаю настоящей убийцей. Надо тебе было найти куст подальше от нее и начать независимую жизнь. Ты совершил непоправимую ошибку, Михаэлс, когда взвалил ее на себя и, надеясь спастись, бежал из объятого пламенем города в деревню. Ибо когда я представляю себе, как ты тащил ее, чуть не падая под ее тяжестью, задыхаясь в дыму, увертываясь от пуль и совершая все прочие подвиги, на которые вдохновляла тебя сыновняя привязанность, я вижу и ее: она сидит у тебя на плечах, высасывает из твоей головы мозг и с торжеством взирает на всех — великая мать Смерть, ее истинное воплощение. А теперь, когда она умерла, ты хочешь последовать за ней. Я не раз думал: что ты видишь, Михаэлс, когда так широко раскрываешь глаза? Ведь, конечно же, ты видишь не меня, не белые стены и пустые койки лазарета, не Фелисити в ее белоснежной шапочке. Что ты видишь? Свою мать в нимбе пылающих волос, она усмехается и манит тебя скрюченным пальцем, зовет пройти сквозь завесу света к ней, в тот, другой, мир? И этим объясняется твое равнодушие к жизни?

Еще я хочу знать, что за пищу ты ел там, на заброшенной ферме, после которой всякая другая

кажется тебе лишенной вкуса. Единственное, что ты когда-либо называл, это тыквы. Ты даже носишь с собой пакетик тыквенных семян. Неужели тыква — это единственное, что едят в Кару? И я должен поверить, что ты целый год питался тыквами? Человеческий организм такого не выдержит, Михаэлс. Что еще ты ел? Наверное, ты охотился? Сделал себе лук и стрелы и охотился? Ел ягоды и коренья? Ел саранчу? В твоих бумагах сказано, что ты был opgaarder, сторож, но не сказано, что именно ты сторожил. Манну небесную? Она падала тебе с неба, и ты хранил ее в погребах, чтобы кормить своих ночных друзей? И потому-то ты отказываешься есть лагерную пищу — ты навеки отравлен вкусом манны небесной?

Тебе надо было прятаться, Михаэлс. Ты был слишком беззаботен. Надо было забиться в самую глубокую нору, в самый ее темный угол и терпеливо ждать, пока война кончится. Ты что, считал себя незримым духом, инопланетянином, существом, на которое людские законы не распространяются? Людские законы зажали тебя сейчас в тиски, они пригвоздили тебя к кровати под трибунами Кенилуортского ипподрома, они, если понадобится, сотрут тебя в порошок. Эти законы написаны железной рукой, Михаэлс,

надеюсь, ты начал это понимать. Истай, как свеча, — они все равно не сжалятся. Людям с такой огромной душой на земле нет места, разве что в Антарктике или где-нибудь среди океана.

Если ты не пойдешь на уступки, Михаэлс, ты умрешь. И не думай, что ты просто исчезнешь, плоть твоя сгорит и останется одна душа, и эта душа улетит в эфир. Смерть, которую ты выбрал, — мучительная смерть, ты в полной мере испытаешь раскаяние, сожаление, горе, и много дней пройдет, пока наконец наступит избавление. Ты умрешь, и история твоей жизни умрет с тобой, умрет навсегда, если ты не одумаешься и не послушаешь меня. Послушай меня, Михаэлс. Я единственный, кто может тебя спасти. Я единственный, кто понимает, какое ты необыкновенное существо. Я единственный, кому ты не безразличен. Я один вижу, что ты не покорный узник, которого надо поместить в лагерь с мягким режимом, и не закоренелый преступник, которому нужен жесточайший режим, нет, ты просто человек, на которого нельзя наклеить никакой ярлык, твоя душа, к счастью, не отравлена никакими догмами, ей неведома человеческая история, и эта душа пытается расправить крылья в своем каменном саркофаге, пытается загово-

рить под своей клоунской маской. В каком-то смысле ты — уникум, Михаэлс; ты последний из своего вида, доисторическое животное вроде целаканта, или последний человек, говорящий на языке янкви. Мы все свалились в кипящий котел истории, и только ты, следуя своей дурацкой звезде, проведя свое детство в приюте (кому бы пришло в голову, что приют может стать убежищем?), ускользнув от мира и от войны, спрятавшись на открытом месте, там, где никому и в голову не пришло бы тебя искать, только ты один умудрился жить на старый лад, ты плыл по времени, ты наблюдал смену времен года и не пытался изменить ход истории, как не пытается изменить его песчинка. Мы должны гордиться тобой и воздавать тебе почести, твою одежду надо выставить в музее, одежду и пакетик с семенами тыквы, а на стене ипподрома установить мемориальную доску в память о твоем пребывании здесь. Но ничего этого не будет. Будет иначе: ты умрешь, никому неведомый, тебя зароют где-нибудь в углу ипподрома, потому что сейчас речи быть не может о том, чтобы везти тебя на кладбище в Волтемаде, ни одна живая душа, кроме меня, не будет помнить о тебе, если только ты не смягчишься и наконец не заговоришь.

Умоляю тебя, Михаэлс, смягчись!
Твой друг.

* * *

После самых разнообразных слухов об ожидаемом поступлении заключенных положение наконец разъяснилось. Основная часть задержана в Реддерсбурге, ждут транспорта. Что касается партии из восточных провинций, они вообще не прибудут: в Эйтенхагском этапном лагере не осталось сотрудников, которые могли бы рассортировать задержанных на матерых преступников и на тех, кто просто нуждается в перевоспитании, и потому все арестованные в этом секторе отправляются в лагеря со строгим режимом и будут содержаться в них до особых распоряжений.

Так что в Кенилуорте по-прежнему царит праздничное настроение. Завтра состоится крикетный матч между персоналом лагеря и командой генерал-квартирмейстерской службы. В центре бегового поля кипит деятельность: стригут газон, размечают площадку. Капитан нашей команды — Ноэль. Он говорит, что в последний раз играл тридцать лет назад. Никак не может найти себе белые брюки по размеру. Если по всей стране и

впредь будут взрывать железнодорожные пути и задерживать составы, власти о нас забудут, и мы, отгородившись от мира нашим забором, сможем мирно играть до конца войны.

К нам нагрянул Ноэль с инспекцией. В палате всего двое больных — Михаэлс и еще один парнишка с сотрясением мозга. Мы говорили о Михаэлсе, говорили тихо, хотя он и спал. Я все еще могу спасти его, сказал я Ноэлю, если вставлю ему в нос трубку и буду кормить, но заставлять жить человека, который не хочет жить, против моих убеждений. Устав на моей стороне: он запрещает принудительное питание и искусственное продление жизни. (И еще он запрещает афишировать голодные забастовки.)

— Сколько он еще протянет? — спросил Ноэль.

— Недели две, может быть, даже три, — сказал я.

— Что ж, по крайней мере, он умрет без мучений.

— Нет, — возразил я, — он умрет в жесточайших мучениях.

— А разве нельзя сделать ему какой-нибудь укол?

— Чтобы умертвить его? — спросил я.

— Нет, я вовсе не хочу его умерщвлять, — отве-

тил он, — просто чтобы облегчить его страдания.

Я отказался. Не могу брать на себя такую ответственность, пока есть надежда, что он передумает. Так мы ни до чего и не договорились.

* * *

Матч мы проиграли, мяч носился над неровно подстриженным полем, а отбивающие отскакивали от него, боясь, как бы он их не ударил. Ноэль, который играл в белом шерстяном тренировочном костюме с красными лампасами и был похож в нем на Деда Мороза в теплом нижнем белье, бил одиннадцатым, и после первого же мяча его высадили.

— Где вы учились играть в крикет? — спросил я его.

— В Морресбургс, еще в тридцатые годы, — ответил он, — на школьном стадионе, во время больших перемен.

Из всех из нас он самый лучший.

После крикета устроили пирушку и не расходились до глубокой ночи. Ответный матч назначили на февраль, в Симонстауне, если нас к тому времени не переведут.

* * *

Ноэль очень удручен. Он узнал сегодня, что то, что произошло в Эйтенхагском лагере, только начало и что разница между исправительными лагерями и лагерями для военнопленных ликвидируется. Бардскердерсбос закрывается, а три остальные, включая Кенилуорт, превращаются в обыкновенные лагеря для военнопленных. Перевоспитание вещь прекрасная, но, как выяснилось, идеал оказался недостижим; что же касается трудовых частей, их можно формировать из узников лагерей для военнопленных. Ноэль спросил начальство: „По-вашему, можно запереть крепких бывалых солдат здесь, в Кенилуорте, в центре города, оградив их всего лишь кирпичным забором и двойной оградой колючей проволоки, под охраной горстки стариков с больным сердцем и зеленых юнцов?“ Ему ответили: „Нам известны недостатки кенилуортского лагеря. Прежде чем он будет заново открыт, его предполагается модернизировать, причем будут установлены прожекторы и сторожевые вышки“.

Ноэль признался мне, что подумывает об отставке: ему шестьдесят лет, достаточно он отдал

службе, у него дочь-вдова, она уговаривает его переехать к ней в Гордонс-Бей. „Начальником такого лагеря должен быть железный человек. Не для меня эта работа, Я не мог с ним не согласиться! То, что он не железный. — самое большое его достоинство

* * *

Михаэлс исчез. Должно быть, сбежал ночью. Когда Фелисити утром вошла в палату, она увидела, что его кровать пуста, но докладывать не стала. („Я подумала, он в туалете“.) Я обнаружил, что он исчез, только в десять часов. Теперь-то я понимаю, как легко было сбежать, во всяком случае, здоровому человеку. Лагерь пуст, часовые только у главных ворот и у ворот на территорию, где живут сотрудники лагеря. Ограду никто не охраняет, боковые ворота просто заперты. Бежать из лагеря некому, а кто захотел бы войти в него из города? О Михаэлсе мы, конечно, не подумали. Он, вероятно, тихонько вышел на поле, перелез через забор, одному богу известно как, и исчез. Колючая проволока вроде нигде не перерезана, но Михаэлс такой тощий, что пролезет в самую узкую щель.

Ноэль в затруднении. Устав предписывает

доложить о побеге властям и передать дело в полицию. Но тогда начнется расследование и, конечно же, обнаружится, как вольготно мы тут живем: половина сотрудников ночами отсутствует, часовые не выставляются и т. д. Есть выход: составить свидетельство о смерти, и пусть Михаэлс идет на все четыре стороны. Я убеждаю Ноэля так и поступить:

— Давайте покончим с Михаэлсом раз и навсегда. Несчастный идиот уполз, как больная собака, чтобы где-нибудь тихо умереть. Бог с ним, зачем нам надо, чтобы его приволокли сюда обратно и он умирал при свете прожектора, под взглядами чужих людей. — Ноэль улыбнулся. — Вы улыбаетесь, — сказал я. — но я прав: такие, как Михаэлс, связаны с миром, который нам с вами недоступен. Они слышат зов великого доброго творца и повинуются ему. Как слоны, вы ведь знаете?

— Михаэлса вообще не следовало привозить в этот лагерь, — продолжал я. — Это была ошибка. И уж если на то пошло, вся жизнь его была ошибка, от начала и до конца. Жестоко так говорить, но я все равно скажу: ему вообще не надо было родиться на свет. Как только мать увидела его, ей надо было тихонько задушить его и бросить в мусорный контейнер. Давайте хоть сейчас от-

пустим его с миром: я составлю свидетельство о смерти, вы подпишете, какой-нибудь клерк в управлении подошьет его к делу не глядя, и все, на этом история с Михаэлсом закончится.

— На нем лагерная пижама, — сказал Ноэль. — Полиция заберет его, спросит, откуда он, он объяснит, что из Кенилуорта, они проверят и обнаружат, что о побеге мы не сообщили, и расплата будет жестокой.

— Он был не в пижаме, — возразил я. — Что уж он там надел, я не знаю, только пижаму он оставил в палате. И он никогда не признается, что он из Кенилуорта, по той простой причине, что не хочет возвращаться в Кенилуорт. Он наплетет им какую-нибудь из своих историй, например, что он из райского сада. Вытащит свой пакетик с семенами, потрясет им, улыбнется, и его тут же отправят в сумасшедший дом, если их еще не все закрыли. Больше мы о Михаэлсе не услышим, Ноэль, клянусь вам. Кстати, знаете, сколько он весит? Тридцать пять килограммов, кожа да кости. Он две недели не ел. Его организм утратил способность усваивать обыкновенную пищу. Я поражен, что у него хватило сил встать и идти, а то, что он перелез через забор, — вообще чудо. Сколько он может протянуть? Одна ночь под от-

крытым небом — и он умрет от холода. Его сердце остановится.

— Кстати, неплохо бы проверить, не лежит ли он где-нибудь возле забора, может, он залез на него и просто свалился? — Я встал.

— Облепленный мухами труп возле лагеря — только этого нам не хватало. Конечно, ходить проверять не ваша обязанность, но если хотите, сделайте одолжение, посмотрите. Можете взять мою машину.

Машину я брать не стал, обошел лагерь пешком. По ту сторону забора густо разрослись сорняки, на задах мне буквально пришлось продираться сквозь них. Трупа я не обнаружил, проволока нигде не была повреждена. Через полчаса я вернулся к тому месту, с которого начал обход, и слегка удивился: до чего же, оказывается, лагерь маленький — то есть снаружи, а для тех, кто в нем живет, это целая вселенная. А потом, вместо того чтобы вернуться с докладом к Ноэлю, я побрел по Розмид-авеню в узорной тени дубов, наслаждаясь полуденным покоем. Мимо проехал на велосипеде старик, велосипед скрипел при каждом движении педалей. Он поднял руку, приветствуя меня. Я подумал, что, если пойти за ним прямо по улице, к двум часам я буду на

пляже. Почему бы дисциплине и порядку не развалиться прямо сегодня, спрашивал я себя, какой смысл ждать еще день, неделю, месяц, год? От чего человечеству будет больше пользы — если я проторчу весь день в лазарете, инвентаризируя имущество, или если я пойду на пляж, разденусь, лягу в трусах на песок и буду впитывать в себя ласковое весеннее солнышко, смотреть, как дети резвятся в воде, потом куплю мороженое в киоске на стоянке, если киоск еще существует? Чего в конечном итоге достиг Ноэль, часами подсчитывая за своим письменным столом, сколько к нам поступило заключенных и сколько мы выпустили? Не лучше ли ему было пойти вздремнуть? Может быть, общая сумма человеческого счастья увеличилась бы, объяви он сегодняшний день выходным, все пошли бы на пляж — и начальник лагеря, и врач, и священник, и инструкторы по физической подготовке, и охранники, и часовые с собаками, и даже шесть неисправимых заключенных, которых держат под арестом, оставили бы только больного с сотрясением мозга, пусть присматривает за лагерем. Может быть, нам встретились бы девушки. Разве не для того мы в конечном итоге ведем войну, чтобы увеличить сумму человеческого счастья во всем мире? Или,

может быть, я перепутал, может быть, я думал о другой войне?

— За забором Михаэлса нет, — доложил я. — И на нем одежда, которая нас не выдаст. На нем синий комбинезон с надписью „Лесоруб“ на груди и на спине, он висел в уборной на крючке бог весть с каких пор. Мы можем спокойно списать его со счетов.

Ноэль устало посмотрел на меня — усталый, старый человек.

— И еще одно, — продолжал я, — можете вы мне напомнить, ради чего мы ведем эту войну? Мне когда-то говорили, но это было давно, боюсь, я забыл.

— Мы ведем эту войну, — сказал Ноэль, — чтобы национальные меньшинства сами могли решать свою судьбу.

Мы смотрели друг на друга пустым взглядом. Он не понимал меня, тут я ничего не мог сделать.

— Давайте свидетельство, которое вы хотели написать, — сказал он. — Дату не проставляйте, оставьте пустое место.

А вечером я сидел без дела за столом медсестры. В палате было темно, за окном разыгрывался юго-восточный ветер, ровно дышал больной с сотрясением мозга, и вдруг я с необыкновенной

остротой почувствовал, что зря растрачиваю свою жизнь, растрачиваю ее, живя изо дня в день в ожидании, что я по сути сдался этой войне в плен. Я вышел из лазарета, встал на краю пустого бегового поля и стал смотреть на чистое ветреное небо, надеясь, что моя тревога пройдет и вернется прежнее спокойствие. Время войн — это время ожидания, сказал когда-то Ноэль. Что еще остается в лагере, как не ждать, жить заведенным порядком, тянуть лямку, прислушиваться все время к гулу войны за стенами, в надежде, что его тон изменится? История колеблется, не зная, куда ей повернуть, а вот Фелисити — взять хотя бы одну только Фелисити — интересно, ощущает ли она, что живет как бы во взвешенном состоянии, живет и в то же время не живет? Для Фелисити история, судя по тому, что я о ней знаю, всего лишь школьный учебник. („Когда была открыта Южная Африка?“ — „В тысяча шестьсот пятьдесят втором году“. — „Где самая глубокая скважина в мире?“ — „В Кимберли“.) Сомневаюсь, чтобы Фелисити видела потоки времени, вьющиеся и крутящиеся вокруг нас на полях сражений, в военных штабах, на заводах, на улице, в правлениях фирм, в правительственных учреждениях, — сначала они бьются и сталкиваются

друг с другом, но неуклонно стремятся к преображению, и тогда из хаоса рождается порядок и история торжествующе являет себя во всем своем смысле и значении. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, Фелисити не считает, что ее заперло в ловушке времени — времени ожидания, времени лагерей, времени войны. Ей время кажется таким же наполненным, как и прежде, даже когда она стирает простыни, даже когда метет полы: я же, слушающий одним ухом обыденные разговоры, которые мы ведем в нашей лагерной жизни, а другим — недоступное обычному слуху жужжание гироскопов Великого Механизма, чувствую, что время опустошилось. (А может быть, я недооцениваю Фелисити?) Даже наш больной с сотрясением мозга, полностью обращенный в себя и отгороженный от мира своим медленным угасанием, умирая, живет более насыщенно, чем я, здоровый и полный сил.

Я хочу, хотя нам это грозит неприятностями, чтобы у ворот появился полицейский, держа за шиворот Михаэлса, точно тряпичную куклу, сказал: „Почему вы не смотрите за этими ублюдками?“, оставил бы его у нас и ушел. Михаэлс с его мечтой покрыть пустыню цветущими плетями тыкв — еще один из тех чудаков, кто слишком

занят, слишком глуп, кто слишком увлечен и потому не слышит, как движутся колеса истории.

* * *

Сегодня утром без предупреждения прибыла колонна грузовиков и привезла новую партию, — четыреста заключенных, тех самых, которых сначала держали неделю в Реддерсбурге, а потом состав с ними стоял к северу от Бофорт-Уэста. И все то время, что мы играли здесь в крикет, развлекались с девушками, философствовали о жизни и о смерти и об истории, эти люди томились на запасных путях в вагонах для скота, днем под палящим ноябрьским солнцем, ледяными ночами спали на полу, прижавшись друг к другу, два раза в сутки их выпускали справлять нужду, единственное, что они ели, — это каша, которую варили на кострах возле насыпи; составы с более срочным грузом проносились мимо, а колеса их временного жилища оплетали паутиной пауки. Ноэль говорит, что сперва хотел категорически отказаться принять людей, и имел бы полное право, потому что наш лагерь для них совершенно не приспособлен, но когда услышал запах, который исходил от заключенных, увидел, как они измучены и беспомощны, он понял, что возражать

не надо, — их просто отвезут обратно на вокзал, погрузят в те же самые вагоны для скота, в которых они прибыли, и если только какой-нибудь чиновник в этой немыслимой бюрократической махине не шевельнет ради них пальцем, они так в этих вагонах и перемрут. И все мы целый день без отдыха трудились, обрабатывая вновь поступивших: надо было провести дезинфекцию, сжечь их одежду и выдать лагерную, накормить их, отделить больных от просто истощенных. Палата и коридор опять переполнены; некоторые из новых больных почти такие же худые, как Михаэлс, который, как мне кажется, живя, настолько приблизился к смерти — или, может быть, умирая, — к жизни, не знаю, — насколько это доступно человеку. Словом, все мы в делах и в хлопотах, и очень скоро церемония подъема флага и исправительное пение погубят наши мирные послеполуденные часы.

Заключенные говорят, что по дороге умерло человек двадцать, не меньше. Покойников зарывали прямо в вельде. Ноэль стал проверять документы. Оказалось, что они составлены сегодня утром в Кейптауне, и в них не значится ничего, кроме числа прибывших.

— Почему вы не потребовали сопроводитель-

ные бумаги? — спросил его я.

— Какой толк? — ответил он. — Мне ответили бы, что бумаги еще не готовы. А они никогда не будут готовы. Кому нужно, чтобы началось расследование? И потом, кто скажет, что двадцать из четырехсот так уж много? Люди умирают на каждом шагу, они смертны, такова природа человеческая, ничего тут не поделаешь.

Очень много больных дизентерией и желтухой, и конечно же, почти у всех глисты. Нам с Фелисити вдвоем не справиться. Ноэль согласился, чтобы я взял двух санитаров из заключенных.

Тем временем планы превратить Кенилуорт в лагерь строгого режима проводятся в жизнь. Первого марта мы переходим в новый статус. Готовятся серьезные перемены: должны быть снесены трибуны и построены бараки, чтобы принять еще пятьсот заключенных. Ноэль позвонил начальству и пожаловался, что срок слишком короткий, но ему сказали: „Успокойтесь. Обо всем позаботятся. Помогите нам — выделите людей для очистки территории. Если есть трава, сожгите ее. Если камни — уберите. Каждый камень отбрасывает тень. Желаем удачи. Помните: „'n

boer maak 'n plan“[8].

Подозреваю, что Ноэль пьет сейчас больше обычного. По-моему, пора нам с ним бежать из крепости — ибо Полуостров превращают именно в крепость, — и пусть заключенные стерегут заключенных, а больные лечат больных. Наверное, нам надо взять пример с Михаэлса и забраться в какой-нибудь тихий уголок страны, например, в пустынные районы Кару, поселиться там и жить — два беглеца, два непритязательных джентльмена со скромными средствами. Главная трудность в том, чтобы нас по дороге не поймали. Наверное, для начала надо снять военную форму, набить под ногти грязь и вообще приблизиться к земле, впрочем, я сомневаюсь, что нам удастся стать такими же незаметными, как Михаэлс, точнее, такими, каким он был до того, как превратился в скелет. Когда я глядел на Михаэлса, я неизменно думал, что вот кто-то взял горсть пыли, смочил слюной и вылепил примитивного человечка, слегка уродливого (заячья губа и, конечно же, мозги), не со всеми органами (нет полового), и все равно получился настоящий маленький глиняный человечек, именно такой,

---

**[8] Примечания: 8**
Здесь: „Им нельзя доверять“ *(африкаанс).*

каких лепят крестьяне; он вылезает на свет из утробы матери, и его пальцы уже скрючены, а спина согнута, чтобы копать нору; всю свою жизнь это существо проводит, склонившись над землей, и когда наконец его время приходит, он сам роет себе могилу, тихо в нее ложится и заваливает себя тяжелыми комьями, закутывается в них, как в одеяло, улыбается последней улыбкой, поворачивается и засыпает, наконец-то обретя дом, а где-то далеко, как всегда незаметно, продолжают вращаться колеса истории. Какому носителю власти пришло бы в голову поручить этим существам исполнение своей воли, ведь единственное, на что они пригодны, — это носить тяжести и умирать сотнями, тысячами. Государство держится на земледельцах, каким был Михаэлс; оно пожинает плоды их труда и в благодарность плюет на них. Но когда государство навесило на Михаэлса номер и швырнуло себе в пасть, оно зря трудилось: государству не удалось сожрать и переварить его, он вышел из лагеря целый и невредимый, как вышел в свое время из школы и из приюта.

А вот меня, — если я однажды глухой ночью надену комбинезон и теннисные туфли и перелезу через забор (мне придется перерезать колючую

проволоку, ведь я-то сделан не из воздуха), — меня заберет первый же патруль, пока я буду стоять и раздумывать, куда идти, в какой стороне искать спасение. Беда моя в том, что я потерял единственную надежду, которая у меня была, потерял еще до того, как это понял. В ту ночь, когда Михаэлс бежал, мне надо было бежать вместе с ним. Я был не готов, но что толку говорить об этом теперь! Если бы я отнесся к Михаэлсу серьезно, я давно был бы готов. Заранее собрал бы узелок со сменой белья, взял коробку спичек, пакет сухарей и банку сардин, положил в кошелек деньги. Нельзя было спускать с него глаз. Когда он спал, я должен был спать рядом за дверью; когда он просыпался, я должен был следить за каждым его движением. И когда он проскользнул из палаты во двор, я должен был скользнуть за ним. Прятаться в тени, красться по его следам, перелезть через забор в темном углу и идти по обсаженной дубами улице под звездами, не приближаясь к нему, останавливаться, когда он останавливался, чтобы он ничего не заподозрил и не подумал: „Кто это там идет за мной? Что ему надо?“ и не бросился бежать, приняв меня за полицейского, за переодетого полицейского в комбинезоне и теннисных туфлях, с узелком, в котором лежит

пистолет. Я должен был красться за ним по переулкам всю ночь до рассвета, и вот наконец перед нами пустыри, и за ними начинается Капская равнина, мы шагаем по песку через заросли, ты впереди, я — в пятидесяти шагах от тебя, обходя лачуги, из которых к небу уже поднимается кудрявый дым. И здесь, при свете дня, ты наконец поворачиваешься и смотришь на меня — фармацевта, которому пришлось стать в лагере врачом, я сейчас смиренно иду за тобой, а до того, как мне прозреть, я приказывал тебе, когда ты должен засыпать и когда просыпаться, я вставлял тебе трубку в нос, я заставлял тебя глотать таблетки, в твоем присутствии подсмеивался над тобой, и главное, главное — безжалостно заставлял тебя есть пишу, которую ты есть не можешь. Полный подозрений, полный гнева, ты останавливаешься и ждешь, пока я подойду и все тебе объясню.

И я подхожу к тебе и начинаю говорить. Я говорю: „Прости меня за то, что я так с тобой обращался, я только в последние дни понял, какое ты удивительное существо. Прости меня и за то, что я крался за тобой. Обещаю, что не стану для тебя обузой. („Какой была твоя мать?“ Нет, наверное, этих слов говорить не стоит.) Я не прошу тебя заботиться обо мне, кормить меня. Мне нужно

очень мало. Страна у нас большая, такая большая, что в ней, казалось бы, всем должно хватить места, но жизнь научила меня, что нас хотят упрятать в лагеря. И все же я убежден, есть места, которые нельзя превратить в лагерь, например, некоторые вершины гор, островки среди болот, безводные пустыни, где люди обычно не селятся. Я хочу найти такое место и жить там, может быть, пока не наступят перемены к лучшему, может быть, всегда. Но я не так глуп и понимаю, что никакие карты и дороги меня туда не приведут. Поэтому я и выбрал тебя — покажи мне путь“.

Тут я подхожу к тебе ближе, так близко, что мог бы коснуться рукой, и ты уже не отведешь от меня глаз. „С той самой минуты, как ты появился у нас, Михаэлс, — говорю я, сбежавший в ту ночь вместе с тобой, — я сразу увидел, что ты не из тех, кого можно заключить в лагерь. Признаюсь, сначала я считал тебя смешным чудаком. Да, я просил майора ван Ренсбурга освободить тебя от лагерного режима, но лишь потому, что был уверен, — заставлять тебя принимать участие в перевоспитательных процедурах все равно что пытаться научить крысу, или мышь, или (прости меня) ящерицу лаять, ловить мяч и просить милостыню. Но шло время, и я начал медленно

понимать, как своеобразно твое сопротивление. Ты был не герой и не посягал на роль героя, даже когда голодал. По сути, ты вовсе и не сопротивлялся. Тебе велели прыгать, и ты прыгал. Тебе снова велели прыгать, и ты снова прыгал. Тебе велели прыгать в третий раз, и ты не возразил, ты просто рухнул на землю, и все мы поняли, даже самые недоверчивые, что ты не смог прыгать только потому, что истощил все силы, подчиняясь нам. И тогда мы тебя подняли, ты оказался легким как перышко, поставили перед тобой еду и сказали: „Ешь, восстанавливай силы, чтобы потом снова их истощить, подчиняясь нам“. И ты не отказался. Ты искренне хотел, я в этом уверен, выполнить все, что тебе велели. Дух твой соглашался (прости, что я тебя расчленяю, но только так я могу объяснить свою мысль), дух соглашался, но организм твой бунтовал. Так мне это представляется. Твой организм отвергал пищу, которой мы хотели тебя накормить, и ты все продолжал худеть. „Почему, — спрашивал я себя, — почему этот человек отказывается есть? Ведь он умирает с голоду“. Но потом, наблюдая за тобой изо дня в день, я начал постигать истину: что ты тайно, подсознанием (прости мне этот психоаналитический термин) жаждешь другой

пищи, пищи, которую ни один лагерь тебе дать не может. Твой дух уступал, но организм жаждал именно той пищи, которая ему была нужна, и никакой другой не хотел. Я понял, что организм не идет на компромисс. А меня-то учили, что организм хочет одного — жить. Когда человек совершает самоубийство, то не тело убивает себя, а дух убивает тело, считал я. И вот передо мной оказался организм, который был готов умереть, только бы не менять свою природу. Я часами простаивал в дверях палаты, наблюдая за тобой и пытаясь разгадать эту тайну. Ты погибал не за какую-то идею, не за какой-то принцип. Ты не хотел умирать, и все же умирал. Ты был точно кролик, заваленный кусками говядины: среди этой груды мяса ты задыхался и тосковал о пище, которую ты только и можешь есть“.

Тут я умолкну, потому что неподалеку от нас раздается кашель, старик отхаркается и плюнет, потянет дымом костра; но мои горящие глаза не отпустят тебя, ты будешь стоять, точно прикованный.

„Я был единственный, кто видел, что ты совсем не то, чем кажешься, — снова заговорю я. — Медленно, день за днем, по мере того, как твое упрямое „нет“ набирало силу, я начал чувство-

вать, что ты не просто еще один пациент в моей палате, еще одна жертва войны, еще один камень в пирамиде, на вершину которой когда-нибудь влезет победитель, расставит ноги и, с хохотом потрясая руками, объявит себя властелином края, расстилающегося перед ним. Ты лежал на своей койке возле окна, горел ночник, глаза твои были закрыты, наверное, ты спал. Я останавливался в дверях и, затаив дыхание, слушал, как стонут во сне и ворочаются другие больные, стоял и ждал; и во мне росло ощущение, что над одной из кроватей воздух сгущается, концентрируется темнота, черный вихрь ревет в полнейшем беззвучии над твоим спящим телом, указывая на тебя, но так, что даже кончик простыни не колыхнется. Я тряс головой, пытаясь отогнать морок, но ощущение не пропадало. „Нет, это не моя фантазия, — говорил я себе. — Это предчувствие, что смысл вырисовывается, вовсе не похоже на то, с каким я направляю свой луч, чтобы осветить ту или иную кровать, с каким ряжу по своей прихоти в разные одежды того или иного больного. В Михаэлсе скрыт большой смысл, и этот смысл важен не для меня одного. Если бы это было не так, если бы ощущение этого смысла было рождено всего лишь пустотой во мне, скажем, отсутствием того,

во что можно верить, ибо все мы знаем, как трудно утолить эту жажду веры при том будущем, которое сулит нам война, и тем более лагеря, если бы сам Михаэлс был всего лишь тем, чем кажется (чем ты кажешься), высохшим скелетом с уродливой губой (прости меня, я перечисляю лишь те приметы, которые бросаются в глаза), тогда я имел бы полное право пойти в туалет за бывшими раздевалками жокеев, запереться в последней кабинке и пустить себе пулю в лоб. Был ли я когда-нибудь более искренен, чем сейчас?“ И все так же стоя в дверях, я жесточайшим образом анализировал себя, стараясь разглядеть всеми доступными мне средствами хотя бы тень корысти в глубине моего убеждения, например, желание оказаться единственным, для кого лагерь — это не просто бывший Кенилуортский ипподром с выстроенными на нем типовыми бараками, но священное место, в котором мир осветился смыслом. И если такая тень жила во мне, она не поднималась на поверхность, а если ее не было, разве я мог вызвать ее силой? (Я в общем-то сомневаюсь, что можно отделить ту часть нашей души, которая вглядывается в нас словно ястреб, от той, которая прячется; но давай лучше отложим этот разговор до другого времени, когда

нам не придется убегать от полиции.) И я снова обращал свой взгляд вовне — и все было как прежде, я не обманывал себя, не льстил себе, не утешал себя, это была правда, истина: над одной из кроватей действительно сгустилась, сконцентрировалась темнота, и это была твоя кровать“.

Тут, я думаю, ты отвернешься от меня и пойдешь прочь, перестав понимать, о чем я говорю, и, главное, желая уйти как можно дальше от лагеря. А может быть, тебя спугнет толпа людей в пижамах, которые соберутся на мой голос из лачуг и, разинув рты, будут слушать мой страстный монолог. И теперь мне придется спешить за тобой, стараясь идти рядом, чтобы не кричать. „Прости меня, Михаэлс, — вынужден буду сказать я, — осталось немного, пожалуйста, потерпи. Я только хочу объяснить тебе, что ты для меня значишь“.

Тут, я думаю, ты бросишься бежать, так уж ты устроен. И мне придется бежать за тобой по глубокому серому песку, словно по воде, я буду бежать, увертываясь от веток, и кричать: „Твоя жизнь в лагере была всего лишь аллегорией, хотя ты, наверно, и не знаешь этого слова. Да, это аллегория, высочайшая аллегория того, как сгусток смысла может попасть в чудовищную,

вопиющую бессмыслицу и не потеряться в ней. Разве ты не помнишь, как ты ускользал всякий раз, когда я пытался загнать тебя в угол? Я-то помню. Знаешь, что я подумал, когда увидел, что ты бежал, не перерезав колючей проволоки? „Наверное, он прыгун с шестом“, — вот что я подумал. Может быть, ты и не прыгун с шестом, Михаэлс, но ты великий иллюзионист-эскапист, один из величайших в этом жанре — снимаю перед тобой шляпу!“

Объясняя тебе все это на бегу, я начну задыхаться и, может быть, даже стану отставать от тебя. „И еще последнее, твой сад, — ловя ртом воздух просиплю я. — Позволь мне объяснить тебе значение священного чарующего сада, который цветет в самом сердце пустыни и дает плоды жизни. Сада, к которому ты сейчас стремишься, нет нигде, и в то же время он везде, кроме лагерей. Именно в нем ты должен жить, там твое место, твой дом. Его нет ни на одной карте, ни одна обыкновенная дорога не ведет туда, и только ты знаешь путь к нему“.

Кажется ли мне это или ты на самом деле после этих моих слов бросишься бежать изо всех своих последних сил, так что даже посторонний наблюдатель поймет, что ты хочешь убежать

от человека, который кричит тебе что-то вслед, от человека в синем, который, судя по всему, преследует тебя, — маньяк ли он, сыщик или полицейский? И удивительно ли, что дети, которые ради забавы пришли за нами, к этому времени начнут сочувствовать тебе, вцепятся в меня со всех сторон, будут колотить, кидать в меня камни и палки, и чтобы отбиться от них, мне придется остановиться, а ты тем временем побежишь дальше, побежишь сквозь густейшую чащобу так быстро, что всякий бы поразился, — неужели это бежит человек, который столько времени голодал, и, глядя тебе вслед, я крикну: „Я прав? Я понял тебя? Если я прав, подними правую руку, если ошибся — левую!“

# III

Чувствуя, как ноги дрожат после долгой ходьбы, щурясь от ослепительного утреннего света, Михаэл К. сел на скамейку возле крошечного поля для игры в гольф на набережной Си-Пойнта и стал смотреть на море; он отдыхал, набирался сил. Воздух был тих. Он слышал, как внизу волны плещут о камни и с шипеньем откатываются. Возле него остановилась собака, понюхала его коленку, подняла лапу возле ножки скамьи. Пробежали, о чем-то щебеча, три девушки в шортах и майках, за ними тянулся хвост сладкого запаха. На Бич-роуд затренькал колокольчик уличного мороженщика, он приближался, потом стал удаляться. Наполненный покоем, в привычной знакомой обстановке, благодарный дню за тепло, К. вздохнул, и голова его медленно свесилась набок. Он не знал — спал он или нет, но когда открыл глаза, то почувствовал, что отдохнул и может идти дальше.

В домах на Бич-роуд стало еще больше заколоченных окон, особенно на первых этажах. Те самые автомобили были на прежних местах,

только теперь они совсем проржавели; у парапета валялся перевернутый обгоревший кузов без колес. К. шел по променаду, остро ощущая, что под синим комбинезоном у него ничего нет, что из всех гуляющих только он босой. Но если кто-нибудь и глядел мельком на него, то уж, во всяком случае, не на его ноги, а на лицо.

Он дошел до клочка земли, где сквозь выжженную траву пробивались среди битого стекла и обугленного мусора нежные зеленые ростки. По черным перекладинам какого-то детского спортивного снаряда карабкался маленький мальчишка, его ступни и ладони были черные от сажи. К. пересек газон, прошел по улице и из солнечного света шагнул в сумрак неосвещенного холла виллы „Лазурный берег“, где на стене кто-то написал черной краской из баллончика-распылителя: „Да здравствует Джо!“ Выбрав себе место в коридоре против двери с нарисованным на ней черепом и скрещенными костями, за которой когда-то жила его мать, он присел на корточки у стены и подумал: „Ничего, люди примут меня за нищего“. Вспомнил потерянный берет: положить бы его рядом для полноты картины, чтобы было куда бросать милостыню.

Шел час за часом. Никто не приходил. Он не

вставал и не пытался открыть дверь, он не знал, что будет делать, если она откроется. В полдень холод начал пробирать его до костей, и он вышел из виллы и снова пошел на пляж. На белом песке под теплым солнышком он заснул.

Проснулся и не сразу понял, где он; хотелось пить, он весь взмок в своем комбинезоне. Нашел общественную уборную на пляже, но воды в кранах не было. Унитазы были засыпаны песком, у стены песку намело по щиколотку.

К. стоял у раковины, раздумывая, что же теперь делать, и тут увидел в зеркало, что в уборную вошли трое. Женщина в белом обтягивающем платье, в платиновом парике и с парой серебряных туфель на высоких каблуках в руке и двое мужчин. Тот, что был повыше, подошел к К. и взял его за локоть.

— Ну что, кончил ты тут свои дела? — спросил он. — Это заведение занято.

Он вывел К. на берег, на слепящий свет пляжа.

— Тут других уборных полно, — сказал он и хлопнул его по плечу, а может быть, просто слегка подтолкнул.

К. сел в песок. Высокий остановился в дверях уборной и смотрел на него. На нем была клетчатая шапочка набекрень.

На маленьком пляже загорало несколько человек, но никто не купался, только в мелкой воде у берега стояла, широко расставив ноги, женщина в подоткнутой юбке и раскачивала за руки маленького ребенка вправо-влево, так что его подошвы касались воды. Ребенок взвизгивал от страха и восторга.

— Это моя сестра, — заметил стоящий в дверях, указывая на женщину с ребенком. — И эта тоже, — он указал пальцем через плечо. — У меня много сестер. Большая семья.

В голове у К. начал ухать паровой молот. Ему бы шляпу или шапочку. Он закрыл глаза.

Из уборной показался другой мужчина и молча сбежал по ступенькам на набережную.

Край солнца коснулся поверхности пустого моря. Подожду, пока песок остынет, подумал К., тогда решу, куда идти.

Высокий стоял над ним и тыкал носком ботинка в ребра. За ним стояли две его сестры, у одной ребенок был привязан за спиной, другая сняла парик и держала его в руке вместе с туфлями. Кончик ботинка нашел прореху в боку его комбинезона и раскрыл ее, там оказалось голое бедро.

— Смотрите, он голый! — со смехом сказал незнакомый, обращаясь к женщинам. — Голый

мужчина! Когда ты в последний раз ел, парень? — Он снова ткнул К. в ребра. — Давайте дадим ему что-нибудь поесть, тогда он, может быть, проснется!

Сестра, у которой был ребенок, достала из сумки бутылку вина, завернутую в бумагу. К. сел и стал пить.

— Откуда ты, парень? — спросил незнакомый. — Ты что, работаешь на них? — И он указал длинным пальцем на его комбинезон, на золотые буквы на кармане.

К. хотел ответить, но вдруг его желудок свела судорога, вино выплеснулось из горла тонкой золотой струей и сразу же впиталось в песок. Мир поплыл и закружился, он закрыл глаза.

— Ничего! — Незнакомый засмеялся и потрепал К. по плечу. — Вот что значит пить на голодный желудок! Когда я тебя увидел, честно признаюсь, я сразу подумал: „Этот парень голодный, ясное дело. Надо его подкормить! — Он помог К. подняться. — Идемте с нами, мистер Лесоруб, мы вам такого дадим, сразу обрастете жирком“.

Они вместе дошли по набережной до пустой автобусной остановки. Незнакомый достал из сумки свежий батон и банку сгущенного молока. Вынул из кармана что-то узкое и черное и пока-

зал К. Сделал незаметное движение, это узкое и черное превратилось в нож. Свистнув в изумлении, он показал всем сверкающее лезвие и стал хохотать, хлопая себя по колену и тыча пальцем в сторону К. Ребенок, который глядел из-за плеча матери широко открытыми глазенками, тоже засмеялся и замахал кулачком.

Высокий успокоился и отрезал толстый ломоть от батона, налил на него вьющееся петлями сгущенное молоко и протянул К. К. стал есть, а все на него смотрели.

Они проходили по переулку, и вдруг К. увидел колонку, из которой капала вода. Он бросился к колонке и стал пить. Пил и не мог остановиться. Вода словно бы сразу хлынула через его тело вниз: ему пришлось убежать в конец переулка и присесть над водостоком, и после этого у него так закружилась голова, что он никак не мог попасть руками в рукава комбинезона.

Жилые кварталы остались позади, они начали подниматься по склону Сигнал-хилл. Идущий позади всех К. остановился перевести дух. Сестра с ребенком тоже остановилась.

— Тяжелый! — сказала она, указывая на ребенка, и улыбнулась. К. предложил взять у нее сумку, но она отказалась: — Ничего, я привыкла.

Пролезли сквозь дыру в заборе, окружавшем лесной заповедник. Незнакомый и другая сестра шагали впереди по дороге, вьющейся вверх; внизу в Си-Пойнте замигали огни, море и небо на горизонте налились красным светом.

Под купой сосен они остановились. Сестра в белом платье исчезла в сумерках. Через несколько минут она вернулась — в джинсах и с двумя набитыми пластиковыми пакетами. Другая сестра расстегнула блузку и дала малышу грудь; К. не знал куда девать глаза. Мужчина раскинул на земле одеяло, зажег свечу и поставил ее в консервную банку. Потом стал выкладывать ужин: батон хлеба, сгущенное молоко, палку копченой колбасы („Золотая! — сказал он К., размахивая колбасой. — За нее платят золотом!“), три банана. Отвинтил крышку с бутылки вина и протянул К. Тот отхлебнул глоток и вернул бутылку.

— А воды у вас нет? — спросил он. Высокий покачал головой.

— Вино у нас есть, молоко есть двух сортов, — он шутливо указал на женщину, кормящую ребенка, — но воды нет, друг, увы, воды здесь нет. Завтра я тебе обещаю достать воду. Завтра начнется новая жизнь. У тебя будет все, ты станешь другим человеком.

Голова у К. кружилась от вина, он то и дело хватался руками за землю, чтобы не упасть, и все же он съел кусок хлеба со сгущенным молоком, даже съел полбанана, но от колбасы отказался.

Мужчина рассказывал о жизни в Си-Пойнте.

— Странно, правда, мы спим на горе, как бродяги, — говорил он. — А ведь мы не бродяги. У нас есть еда, есть деньги, мы зарабатываем себе на жизнь. Знаешь, где мы раньше жили? Скажи мистеру Лесорубу, где мы жили раньше.

— На улице Норманди, — сказала сестра в джинсах.

— Улица Норманди, дом тысяча двести шестнадцать. Но нам надоело взбираться по этой бесконечной лестнице, и мы переселились сюда. Это наш летний курорт, мы тут устраиваем пикники. — Он засмеялся. — А до улицы Норманди мы знаешь где жили? Скажи ему.

— В парикмахерской, — сказала сестра.

— В салоне для мужчин и женщин. Так что видишь, жить в Си-Пойнте можно, надо только уметь. Но расскажи мне, ты-то откуда? Я тебя никогда не видел.

К. понял, что настал его черед рассказывать.

— Я провел три месяца в лагере Кенилуорт, был там до вчерашней ночи, — начал он. — Когда-то

я был садовником, работал в городском парке. Давно это было. Но мне пришлось бросить это место и везти мать на ферму, потому что она заболела. Моя мать работала в Си-Пойнте, и жила она тоже там. Мы прошли мимо дома, где у нее была комната. — Из желудка поднялась тошнота, он с трудом ее подавил. — Мать умерла по дороге, в Стелленбосе. — Мир качнулся, потом все снова вернулось на свои места. — Я не всегда ел досыта, — проговорил он. Он видел, что женщина с ребенком что-то шепчет мужчине. Другой женщины не было в круге света, который бросало дрожащее пламя свечи. Он вдруг подумал, что за все время сестры не перемолвились и словом. И еще он подумал, что ему не стоит рассказывать дальше, рассказ такой неинтересный, сплошные обрывки, он никогда не научится их соединять. А может быть, он просто не умеет рассказывать, чтобы людям было интересно. Тошнота прошла, взмокший от пота комбинезон начал холодить тело, и его пробрала дрожь. Он закрыл глаза.

— Да я вижу, ты хочешь спать! — воскликнул мужчина и хлопнул его по коленке. — Пора укладываться! Завтра ты проснешься совсем другим человеком, увидишь. — Он снова хлопнул К. по коленке, но уже легче. — Все будет хорошо,

друг, — пообещал он.

Спать устроились под соснами, на подстилке из сосновых игл. У них были постели, которые они вынули из своих сумок. К. дали большой кусок толстого пластика и помогли в него завернуться. Закутанный в пластик, обливаясь потом и дрожа, мучаясь от звона в ушах, К. засыпал на несколько минут и в тревоге просыпался. Он не спал, когда среди ночи мужчина, чьего имени он так и не узнал, нагнулся к нему, загородив верхушки деревьев и звезды. Надо что-нибудь сказать, пока не поздно, подумал он, но не смог. Рука незнакомца скользнула по его горлу и стала расстегивать нагрудный карман комбинезона. Пакет с семенами так зашуршал, что К. стало стыдно притворяться спящим. Он застонал и шевельнулся. На миг рука замерла; потом человек исчез в темноте.

Остальную часть ночи К. пролежал, глядя сквозь ветки, как луна плывет по небу. На рассвете он выполз из задубевшего пластика и подошел туда, где спали остальные. Мужчина лежал рядом с женщиной, у которой был ребенок. Ребенок не спал; он играл с пуговицами на кофточке матери и без страха смотрел на К.

К. потряс мужчину за плечо.

— Отдайте мне мой пакет, — прошептал он,

чтобы не разбудить женщин. Мужчина всхрапнул и повернулся на другой бок.

Пакет он нашел в нескольких ярдах. Опустился на четвереньки и стал собирать семена. Собрал половину, спрятал пакет в карман и застегнул, подумав: „Вот жалость — под соснами ни одно семя не прорастет“. И стал спускаться по извилистой дороге.

Пустыми рассветными улицами прошел на пляж. Солнце еще не поднялось из-за горы, и песок был холодный. Он направился к камням, среди которых было много лагун, в них жили своей жизнью актинии и улитки. Он долго рассматривал их, потом ему это надоело, он пересек Бич-роуд и снова просидел около часа у стены возле комнаты матери, дожидаясь, чтобы те, кто живут в доме, вышли и увидели его. Потом он снова вернулся на пляж, лег на песок и стал слушать, как все громче и громче звенит у него в ушах, а может быть, это кровь бежала по жилам, или мысли неслись в голове, он не знал. У него было такое чувство, будто что-то внутри него освободилось или вот-вот освободится. Что освобождается, он пока не знал, но чувствовал также, что все жесткое и натянутое внутри него размягчается, расслаивается, и оба эти чувства

были как-то связаны.

Солнце стояло высоко в небе. Оно взлетело туда в мгновенье ока. Он не представлял себе, сколько прошло времени. Наверное, я спал, подумал он, только это был какой-то нехороший сон. Я словно исчез, но куда? Теперь он был на пляже не один. В нескольких шагах загорали, прикрыв лица шляпами, две девушки в бикини, были и еще люди. Разморенный жарой, с путающимися мыслями, побрел он к общественной уборной. Воды в кранах по-прежнему не было. Высвободив руки из рукавов комбинезона, он сел на слой нанесенного песку, голый по пояс, и попытался привести мысли в порядок.

Он все еще сидел там, когда в уборную вошел тот самый высокий с женщиной, которую он тоже назвал своей сестрой. К. хотел встать и уйти, но высокий его обнял.

— Мой друг мистер Лесоруб! — воскликнул он. — Как я рад тебя видеть! Почему ты ушел от нас так рано утром? Разве я не пообещал, что сегодня у тебя будет праздник? Смотри, что я принес! — Из кармана пиджака он извлек маленькую бутылку бренди. (И как это он умудряется быть таким элегантным? Ведь живет на горе, с удивлением подумал К.)

Высокий потянул К. вниз на песок.

— Сегодня вечером мы идем на вечеринку, — прошептал он. — Там будет много народу.

Он приложился к бутылке и передал ее К. Михаэл отпил глоток. От сердца стала разливаться теплота, голова блаженно онемела. Он лег, все вокруг плыло.

До его слуха донесся шепот; потом кто-то расстегнул нижнюю пуговицу его комбинезона, и внутрь скользнула прохладная рука. К. открыл глаза. Это была женщина. Он оттолкнул ее руку и хотел встать, но мужчина сказал:

— Успокойся, друг, мы в Си-Пойнте, сегодня великий день, день, когда совершаются чудеса. Успокойся же и радуйся жизни.

Он поставил бутылку в песок рядом с К. и исчез.

— Кто твой брат? — хрипло спросил К. — Как его имя?

— Его имя Декабрь, — ответила женщина. Декабрь, не ослышался ли он? В первый раз она заговорила с ним. — Это имя записано в его пропуске. Завтра он может его сменить. Будет другой пропуск с другим именем. Чтобы сбить с толку полицию.

К. хотел оттолкнуть женщину, но не смог и

сдался кружению в голове и далекой влажной теплоте.

Он и сам не знал — может быть, он спит. Она легла с ним рядом на песок, и он увидел, что она совсем молодая, просто серебряный парик ее старил.

— И он в самом деле твой брат? — пробормотал он, думая о мужчине, который ждал снаружи.

Она улыбнулась. Потом склонилась и поцеловала, раздвинув языком его губы.

Когда все кончилось, он почувствовал, что должен что-то сказать, и ради себя, и ради нее, но все слова куда-то ускользнули. Покой, который дал ему бренди, начал улетучиваться. Он отпил из бутылки и передал ее девушке.

Над ним замаячили какие-то тени. Он открыл глаза и увидел девушку, она уже была в туфлях. Рядом с ней стоял мужчина, ее брат.

— Поспи, друг, — сказал мужчина, и голос его звучал где-то далеко-далеко. — Вечером я приду за тобой и отвезу на праздник, который тебе обещал, там будет много еды, ты увидишь, как веселится Си-Пойнт.

К. подумал, что они наконец ушли, но мужчина вернулся и, нагнувшись к нему, прошептал на ухо:

— Трудно проявлять доброту к человеку, которому ничего не нужно. Говори, чего тебе хочется, не бойся, тогда ты все получишь. Послушайся моего совета, мой тощий друг. — И потрепал К. по плечу.

Оставшись наконец один, дрожа от холода, с растрескавшимся горлом, с подстерегающим в тени сознания стыдом за то, что произошло с девушкой, К. застегнул комбинезон и вышел из уборной на пляж, где солнце уже опустилось низко и девушки в бикини складывали сумки, собираясь уходить. Шагать по песку стало еще труднее, чем раньше; раз он даже потерял равновесие и свалился на бок. Затренькал колокольчик мороженщика, он заспешил было, хотел догнать его, но вспомнил, что денег у него нет. На мгновенье в голове прояснилось, и он понял, что заболел. Что-то странное творилось с его телом. Ему было одновременно и холодно и жарко, если только такое возможно. Потом все снова как бы окуталось туманом. Он стоял у подножия лестницы, вцепившись в перила, и тут мимо прошли те две девушки, они отвернулись от него и, как он заподозрил, старались не дышать. Он смотрел, как они поднимаются по ступенькам, и с изумлением почувствовал, что ему хочется вонзить

пальцы в их мягкую плоть.

Он напился из крана во дворе виллы „Лазурный берег“, закрыл глаза и пил, представляя себе, как прохладная вода сбегает с гор в резервуар над парком Де Ваал и потом бежит много миль под городом по трубам, в темноте, под землей, чтобы излиться здесь и утолить его жажду. Ему пришлось опорожнить себя, он ничего не мог поделать, и он снова стал пить. Легкий, такой легкий, что ноги его, казалось, не касаются земли, он вошел из сумерек улицы в черноту коридора и без колебаний повернул ручку двери.

Комната, где когда-то жила его мать, превратилась в склад мебели. Глаза его привыкли к полумраку, и он различил громоздящиеся от пола до потолка десятки стульев из стальных трубок, свернутые огромные пляжные зонты, покрытые белым пластиком столы с отверстиями посредине, и возле двери — три раскрашенные гипсовые скульптуры: олень с шоколадными глазами, гном в желтой куртке, в желтых же панталонах до колен и в зеленом колпаке с кисточкой, человечек с длинным носом, крупнее оленя и гнома, — Пиноккио, узнал он.

Принюхавшись, К. шагнул в темный угол за дверью. Ощупью нашел постель на полу — смятое

одеяло, лежащее на расправленных картонных коробках. Упала и покатилась пустая бутылка. От одеяла пахло вином, табачным дымом, застарелым потом. Он лег и завернулся в одеяло. И тут же в ушах начался звон, запульсировала привычная боль в голове.

Вот я и вернулся, подумал он.

Завыла первая сирена, объявляя о наступлении комендантского часа. И тотчас же к ней присоединились все сирены и гудки города. Потом какофония стихла.

Спать он не мог.

Против воли он вспоминал шлем серебряных волос, вспоминал, как девушка трудилась над ним. У всех я вызываю жалость, подумал он. Где бы я ни появился, находятся люди, готовые излить на меня свою жалость. Мне уже столько лет, и все равно я кажусь сиротой. Они относятся ко мне как к детям из Яккалсдрифа, они были маленькие и не могли совершать преступления, и потому их кормили. От детей ждали в ответ только неловких слов благодарности. От меня они хотят большего, потому что я дольше живу на свете. Они хотят, чтобы я открыл перед ними душу, рассказал о своей жизни, которую прожил в клетках. Они хотят услышать обо всех клетках,

в которых я жил, как будто я попугай, или белая мышь, или обезьяна. И если бы в „Нореиусе“ меня учили не чистить картошку и решать задачи, а рассказывать разные истории, если бы меня каждый день заставляли рассказывать историю моей жизни, стояли бы надо мной с палкой и били, пока я не научусь рассказывать без запинки, тогда я, может быть, сумел бы угодить им. Я рассказал бы им о жизни, проведенной в тюрьме, где я день за днем, год за годом стоял, прижавшись лбом к колючей проволоке, и смотрел вдаль, мечтая о том, чему никогда не сбыться, рассказал бы, как охранники оскорбляли меня, пинали ботинками в спину и гнали мыть полы. Услышав мой рассказ, люди качали бы головами, сочувствовали мне и негодовали, кормили вкусной едой и поили вином, женщины клали бы меня к себе в постель и в темноте любили бы меня. А правда в другом: я садовник, сначала я работал в городском саду, потом был сам по себе, но все равно садовники проводят жизнь, уткнувшись носом в землю.

К. беспокойно ворочался на своей картонной постели. Его волновали эти дерзкие слова: „Правда в другом, в другом, я садовник“. Он громко повторял их снова и снова. А с другой стороны, разве не странно, что садовник спит в каморке и

слушает, как рядом бухают волны?

Пожалуй, я похож на земляного червя, подумал он. Червь ведь тоже рыхлит землю. Или на крота, крот тоже роется в земле и никому не рассказывает о себе, он живет в молчании. Но что делать кроту и земляному червю на асфальте?

Он попытался расслабить свое тело, как когда-то умел, сантиметр за сантиметром.

Что ж, подумал он, по крайней мере, я никогда не хитрил и не принес в Си-Пойнт ворох историй о том, как меня били в лагерях, морили голодом и вышибли мозги. Я был нем и прост в начале жизни, буду нем и прост в конце. Ничего нет стыдного в том, что ты дурачок. Дурачков первыми начали упрятывать в лагеря. А сейчас устроили лагеря для детей, которых бросили родители, лагеря для людей с большими головами и лагеря для людей с маленькими головами, лагеря для рабочих, которые лишились средств к существованию, лагеря для крестьян, которых согнали с земли, лагеря для бродяг, которые живут в подземных водостоках, лагеря для проституток, лагеря для неграмотных, лагеря для повстанцев, которые прячутся в горах и по ночам взрывают мосты. Может быть, счастье в том, чтобы просто не попасть в лагерь, ни в один из этих лагерей. Может

быть, сейчас этого и довольно. Много ли осталось народу, кто не упрятан в лагерь и не стоит у ворот с автоматом в руках? Я убежал из лагерей; может быть, если я буду жить тихо, мне удастся избежать и жалости.

Моя ошибка в том, думал он, возвращаясь мыслями в прошлое, что я не запас разных семян, надо мне было разложить их по всем карманам — в один семена тыквы, в другой семена кабачка, в третий гороха, моркови, свеклы, лука, помидор, шпината. И в башмаки надо было их положить, и за подкладку куртки, если вдруг воры встретятся по дороге. И еще ошибка была в том, что я посадил все семена рядом. Надо было рассадить их по вельду за несколько миль друг от друга на маленьких взрыхленных клочках земли величиной с ладонь, сделать карту и все время носить с собой, каждую ночь обходить с ней посадки и поливать. Ибо для всего на свете есть время — уж это-то он понял там, на ферме. (Значит, это и есть мудрость, к которой он пришел всей своей жизнью, — что для всего на свете есть время? Значит, так вот мудрость и является, нежданно и негаданно, когда ты просто живешь и меньше всего ее ожидаешь?)

Он стал думать о ферме, о серых зарослях тер-

новника, о каменистой почве, о кольце холмов, о лиловых горах вдали, об огромном спокойном пустом синем небе, о бурой выжженной траве, в которой, если приглядеться, можно вдруг увидеть ярко-зеленый лист тыквы и метелку моркови.

А ведь вполне может случиться, что человеку, который плюет на комендантский час и приходит ночевать в этот вонючий угол, когда ему вздумается (К. он представлялся маленьким сутулым старичком с бутылкой в кармане, который все время бормочет что-то себе в бороду, полиция на таких стариков не обращает внимания), вполне может случиться, что ему надоело жить у моря и он захочет отдохнуть где-нибудь на ферме, если только найдется кто-нибудь, кто отведет его туда. Сегодня они могут переночевать в одной постели, ему не раз приходилось так ночевать, а утром, на рассвете, они пойдут на окраину искать брошенную тачку; и если им повезет, уже к десяти они будут шагать по шоссе, купят по пути семена и другие нужные им вещи, но Стелленбос они обогнут, это несчастливое место. И когда старик вылезет из тачки, потянется, разминаясь (события в его воображении развивались все быстрее и быстрее), посмотрит туда, где когда-то стоял насос, который взорвали солдаты, чтобы ничего

от фермы не осталось, и растерянно спросит: „А где же мы возьмем воду?“, он, Михаэл К., вытащит из кармана чайную ложку, да, чайную ложку и большой моток бечевки. Он очистит от обломков вход в скважину, согнет ручку ложечки и сделает петлю, привяжет к ней бечевку и опустит глубоко под землю, и когда он потом достанет ее, в ложке будет вода; вот видишь, скажет он, здесь вполне можно жить.

**1989**